

Дмитрий Мережковский

14 декабря



Царство Зверя

Дмитрий Мережковский

14 декабря

«Public Domain»

1918

Мережковский Д. С.

14 декабря / Д. С. Мережковский — «Public Domain»,
1918 — (Царство Зверя)

Роман «14 декабря» – третья книга трилогии Дмитрия Сергеевича Мережковского «Царство Зверя», куда вошли «Павел Первый», «Александр Первый» и, наконец, роман о Николае Первом и декабристах – первоначально названный писателем по имени венценосного героя. Вечная тема любви и революции находит философское осмысление в произведении. Написанный в начале века, роман как бы предвосхищает события нашего сложного времени.

Содержание

Книга первая.	5
Часть первая	5
Глава первая	5
Глава вторая	12
Глава третья	14
Глава четвертая	17
Глава пятая	25
Глава шестая	28
Глава седьмая	32
Глава восьмая	35
Глава девятая	38
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Дмитрий Сергеевич Мережковский

14 декабря

Книга первая. Четырнадцатое

Часть первая

Глава первая

– Любить землю – грех, надо любить небесное. А я не могу, – больше всего на свете люблю Черемушки. Пока в них жила – и не знала, что так люблю. А вот уехала – и залюбила, затосковала до смерти...

– Вы землю вашу как живую любите, Марья Павловна?

– Ну, конечно, живая! Выбегу, бывало, в рощу – молодые березки – тоненькие, как восковые свечечки, кожица у них такая мягкая, теплая, солнцем нагретая, совсем как живая. Обниму, прижмусь щекою и ласкаюсь, целую: миленькая, родненькая, сестричка моя!

В голубоватом свете зимних сумерек, едва пробивавшемся сквозь обледенелое оконце кибитки, князь Валериан Михайлович Голицын, взглядываясь в милое лицо девушки, думал: «Сама, как та березка весенняя».

Марья Павловна Толычева с виду была обыкновенная уездная барышня из тех, о которых сказано:

Разделены ее досуги
Между роялем и канвой

Одега по модной картинке из «Телеграфа»: меховой палантин добротного бабушкина гродетюра темно-зеленого, клетчатый капор с розовыми лентами; густая черная коса заплетена в виде корзиночки, с висячими вдоль щек легкими гроздьями локонов; старинные гранатовые серьги в ушах, верно, тоже подарок бабушкин. Хорошо воспитана по-французски. А у самой лицо, как у деревенской девушки, которая сидит на завалинке в желтом, с красными горошинами, платочке, смеется с парнями и грызет семечки.

Может быть, никого еще не любит, но благоуханьем любви окружена, как цветущая сирень свежестью росною.

И все это чувствуют: станционные смотрители, шлагбаумные инвалиды, распаренные чаем купцы толстобрюхие, ямщики краснорожие, – все, глядя на Марию Павловну, думают: «Ах, хороша девка!»

По дороге из Василькова в Петербург Голицын остановился в Москве, чтобы повидаться с членом Тайного Общества, Иваном Ивановичем Пуциным. Пущин, служивший в Уголовном Департаменте Московского Надворного Суда, жил у тетки, старосветской барыни, в захолустном особняке, в приходе Пятницы Божедомской, на Старой Конюшенной. Здесь, тоже проездом в Петербург, остановилась дальняя родственница Пуциных, серпуховская помещица Нина Львовна Толычева с девятнадцатилетнею дочкою, Марией Павловной. Голицын согласился сопровождать их, по просьбе Пущина.

Тогда только что начал ходить из Москвы в Петербург почтовый дилижанс – низкий, длинный возок, обтянутый кожей, с двумя оконцами, сзади и спереди. Лежать в нем было невозможно: четыре человека, разделенные перегородкой, сидели друг к другу спиной и смотрели – двое вперед, двое назад – по дороге; а так как прежняя зимняя кибитка означала лежанье, то ямщики прозвали это новое изобретение «нележанцами». Голицын, с обеими дамами и состоявшей при них горничной девкою Палашкою, отправился в таком нележанце.

Госпожа Толычева, родом из семьи зажиточной, привыкла ездить не иначе, как по дворянскому обычаю, на своих, на долгих, с молельнею, кухнею, с обозом домашней клади и дворовой челяди. Почтовых дилижансов боялась как неслыханного новшества и рада была надежному спутнику.

Тотчас рассказала ему всю свою историю. Воспитывалась в Смольном. Почти прямо из института вышла замуж и без малого двадцать пять лет прожила с мужем, как у печки погрелась. Павел Павлович Толычев служил в армии; за Итальянский поход произведен Суворовым в подпоручики; в Двенадцатом году ранен; вышел в отставку с чином подполковника. Был большого ума человек и даже сочинитель – в «Сионском Вестнике» статья его напечатана с господином Лабзиным¹ был в дружбе, а когда его за вольные мысли сослали, едва не добрались и до Павла Павловича. Терпел гонения, потому что любил правду, злых людей обличал, лихоимцев-чиновников и тиранов-помещиков. Самому архиерею доказывал, что не должно быть крепостного состояния – ни господ, ни рабов. Собственных крестьян своих пожелал отпустить на волю, но начальство не позволило. Фармазоном объявили, безбожником и возмутителем. Губернатор хотел в острог посадить. От многих огорчений Павел Павлович заболел и скоропостижно умер. Нина Львовна осталась одна-одинешенька с малолетнею дочкою. Трех детей при муже схоронила; Маринька – последняя. Дела по имению расстроились; видя доброту покойного барина и не понимая благородных чувств, мужики – отродье хамово – избаловались так, что никакого с ними сладу нет; половина в бегах, половина – пьяницы; ни оброка, ни подушных не платят. Сама ничего в хозяйстве не смыслит; знакомые дамы прозвали ее белоручкою за то, что не бивала людей: боится-де замарать свою ладонь о холопыи щеки. А управляющий – плут. Имение в Опекунском Совете заложено – долг 25.000, а процентов нечем платить, – продадут с молотка, и ступай по миру.

Но Сам Господь над ними, сиротами, сжалился – послал доброго человека. Приехал к родным из Петербурга в Серпухов статский советник Порфирий Никодимыч Аквилонов – в Департаменте Внешней Торговли служит, – на балу в уездном клубе увидел Мариньку и так пленился, что через несколько дней предложение сделал. Человек немолодой, лет за пятьдесят, но почтенный, благонамеренный, на прекрасном счету у начальства и большой капитал, говорят, имеет. А в Мариньке души не чаёт. «Если, говорит, согласьем осчастливите, ничего не пожалею для счастья вашей дочери: выйду в отставку, хозяйством займусь в Черемушках и дела ваши поправлю». Маринька не отказала, но просила подумать. И Нина Львовна не неволит дочери: сама понимает, дело молодое – любви хочется, союза сердечного. А Порфирий Никодимыч ей не пара – в отцы годится. Так-то год прошел, все думала, и наконец, письмо получили от господина Аквилонова: почтительнейше просит участь его решить и, ежели есть надежда, хоть малая, в Петербург пожаловать для свидания личного; да и самой Нине Львовне должно прибыть без отлагательства по делам имения, так как уплата взносов просрочена, могут наложить запрещение и объявить торги.

Есть у них еще надежда на троюродную бабушку, Наталью Кирилловну Ржевскую. Старуха богата, да скупа и привередлива: как заладила, чтоб имение продали и к ней на житье в Петербург переехали, так и стоит на своем. «А то, говорит, ломаного гроша от меня не полу-

¹ Лабзин, Александр Фёдорович (1766–1825) – переводчик, издатель журнала Сионский вестник

чите». А Маринька об этом слышать не хочет. «Лучше, говорит, выйду за Аквилонова, а не уеду из Черемушек. Здесь родилась, здесь и умру».

Кончив рассказ, Нина Львовна заплакала: как ни хвалила жениха, а жаль было дочери.

Голицын сидел в своем отделении ночью с Палашкою, а днем с Ниной Львовной. Но на второй день разболелась у нее голова, и, чтоб ей отдохнуть полулежа, Палашку усадили к ямщику на козла, а Марья Павловна пересела к Голицыну.

Нележанец полз черепахою. Саннный путь еще не стал как следует; снегу было мало, полозья визжали по голым камням; возок встряхивало. За перегородкой слышно было сонное дыхание Нины Львовны. Колокольчик звенел усыпительно. В замерзшем оконце густел голубоватый свет вечерних сумерек, похожий на свет, который бывает во сне. И обоим казалось, что снится им сон незапамятно-давний, много раз виденный.

– А мне все кажется, Марья Павловна, что мы уже с вами когда-то виделись. Только вот не могу вспомнить, когда, – сказал Голицын, продолжая вглядываться в милое лицо девушки.

– А ведь и мне... – начала она и не кончила.

– Ну что?

– Нет, ничего. Глупости, – отвернулась, покраснела. Вообще легко краснела, внезапно и густо, во всю щеку, как маленькая девочка, и тогда становилась еще милее. Наклонившись к оконцу, провела по ледяным узорам тоненьким розовым пальчиком.

Вглядывалась в Голицына украдкой, пристально, и лицо его странно менялось в глазах ее, как будто двоилось: то сухое, жесткое, желчное, с недоброй морщинкой около губ, вечно-насмешливой, с пронзительно-умным и тяжелым взором из-под слепо поблескивавших стекол очков – она их вообще не любила: только старики да ученые немцы, казалось ей, носят очки – чуждое, почти страшное; а то вдруг – простое, детское, милое и такое жалкое, что сердце у нее сжималось, как будто чуяло, что этому человеку грозит беда, опасность смертельная. Но все это темно и смутно, как сквозь вещий сон.

– Я ведь вас боюсь немножко, – проговорила, все так же вглядываясь в него, украдкой, пристально. – Кто вас знает, может быть, и вы такой же насмешник, как Иван Иванович?

– Пушин предобрый; его бояться нечего. Да и меня тоже.

– Вы тоже добрый?

– А вы как думаете, Маринька... Марья Павловна?

– Ничего. Меня все зовут Маринькой. Я сама не люблю Марьи Павловны, – заглянула ему прямо в глаза и улыбнулась: он – тоже. Смотрели друг на друга, улыбаясь молча, и оба чувствовали, что эта улыбка сближает их неудержимо растущей близостью, жуткой и радостной, как будто после долгой-долгой разлуки вспоминали, узнавали друг друга.

Вдруг опять отвернулась, покраснела, потупилась. Но сквозь длинные ресницы опущенных глаз он успел поймать стыдливо блеснувшую ласку, – может быть, не к нему, а все равно к кому, – ко всем: так солнечный луч равно ласкает все, на что ни упадет.

– Уж вы меня извините, князь, – проговорила, все еще не поднимая глаз. – Я ужасно дикая. Все одна да одна в своих Черемушках, вот и одичала. С людьми говорить разучилась. Всего боюсь.

– Не стоит людей бояться, Маринька: бояться людей, значит их баловать.

– Да я не людей боюсь, а сама не знаю чего. В Черемушках я не боялась, всегда была храбрая, а как оттуда уехала – такое вдруг все чужое, страшное. Когда была маленькой, няня, бывало, уложит, перекрестит, задернет на кровати занавеску и говорит: «Спи, говорит, дитяtko, спи с Богом! У кота ли воркота, колыбелька хороша. Да глázок не открывай, из-под занавески не выглядывай, а то возьмет Хо – вон оно под кроватью лежит». А потом я часто думала, что не только под кроватью, а везде – Хо. Вся жизнь – Хо...

– А вы от него отчужайтесь, оно вас и не тронет.

– Да как отчужаться?

– Будто не знаете?

– Не знаю... Нет, право, не знаю, – медленно, как бы в раздумье, покачала она головой, и длинные локоны вдоль щек, как легкие гроздья, тоже качнулись. Возок на замерзшем ухабе подпрыгнул, лица их нечаянно сблизились, и нежный локон коснулся щеки его, как будто обжег поцелуем.

– А вы знаете? Ну так скажите.

– Нельзя сказать.

– Почему нельзя?

– Потому что каждый сам должен знать. И вы когда-нибудь узнаете.

– Когда же?

– Когда полюбите.

– Ах, вот что, любовь? – опять покачала головой сомнительно. – А как же говорят, нынче и любви-то настоящей нет, а одна измена да коварство?

– Кто говорит?

– Все.

Le plus charmant amour
Est celui qui commence et finit en un jour.²

Это мне Пущин намедни сказал. И тетенька тоже: «Ах, говорит, Маринька, ты еще не знаешь, какая это птица любовь: как прилетит, так и улетит». И бабенка...

– Сколько их у вас, тетенок да бабенок!

– Ох, много, страсть!

– И вы им всем верите?

– Ну, конечно!

У нее была привычка повторять эти два слова: «Ну, конечно!», и она делала это так мило, что он ждал, когда она их скажет.

– Как же не верить? Надо верить старшим. Сама-то ведь глупенькая, так вот умным людям и верю. Я вся из чужих слов, как одеяльце из лоскутков пестренских.

– А под одеяльцем кто-то прячется? – улыбнулся он.

– А вот узнайте кто, – прищурилась она, глядя на него исподлобья и тоже улыбаясь лукаво-дразнящей улыбкой. И опять блеснул тот солнечный луч, который ласкает все, на что ни упадет.

Помолчала, вздохнула, и лицо омрачилось мыслью недетскою.

– Так-то, князь. Любовь улетит, а Хо останется: оно ведь без крыльев, как червяк, ползучее, или вот как большой, большой паук, ужасный, отвратительный...

Оба замолчали и опять почувствовали, что молчание сблизает их неудержимо растущей близостью.

– Ну, хорошо, – сказал Голицын, – пусть бабенки да тетеньки как им угодно. А вы-то сами хотите, чтоб любовь улетела?

– Ну, конечно, нет! Я люблю любить крепко – не умею любить немножко. Надо, чтоб епанча не спадала с одного плеча, а держалась на обоих твердо.

– Так, Маринька, так! – посмотрел на нее Голицын, как будто, наконец, вспомнил, узнал: «Так вот ты кто!»

– Какая вы хорошая! – проговорил уже другим, тихим голосом.

– Ну, вот, нашли хорошую! Вы меня еще не знаете. Спросите-ка маменьку: она вам скажет, какая я несносная девчонка, злая, упрямая.

² Самая прекрасная любовь — та которая начинается и кончается в один день (франц.)

- Послушайте, Маринька, можно с вами говорить просто?
- Ну, конечно. Я сама люблю – просто. Этих церемоний терпеть не могу!
- Так вот что, Марья Павловна, – начал он и вдруг остановился; так же, как давеча Маринька, отвернулся, покраснел и потупился. Она посмотрела на него с любопытством.
- Не выходите замуж за господина Аквилонова, – проговорил он с внезапной решимостью.
- Это еще что? Почему?
- Потому что вы его не любите.
- Как не люблю? Жених – значит, люблю.
- Нет, не любите. Он для вас – Хо.
- Какие глупости! Человек прекрасный, почтенный, благонамеренный. Может составить счастье всякой девушки. Это все говорят – и маменька, и тетенька, и бабенка...
- А все-таки не выходите.
- Да вам-то что? Какой чудак! И как вы смеете? Мне бы рассердиться надо, а я не умею, дура...
- Ну, простите. Не буду. Не сердитесь, хорошая моя, милая, милая девушка...
- Он вдруг замолчал. Взглянул на нее украдкой. Опять, как давеча, наклонилась к замерзшему оконцу и дышала на него, приложив ладони ко рту; потом начала что-то выводить пальчиком на кружке оттаявшем.
- В. Видите, В? Ведь имя вашей невесты с В?
- Какой невесты?
- Вот тебе на! Хорош жених – невесту забыл! Ай-ай-ай, разве так можно? И чего вы от меня таитесь? Я же знаю, мне Пущин сказывал: у вас в Петербурге – невеста красавица; имя – с В... Василиса, что ли? Валериан да Василиса. Вот как ладно, – с одной буквы оба имени! – рассмеялась она звонко, как будто весело, а глаза были грустные.
- Почему с В? Ах, да, – «Вольность», – догадался Голицын и вспомнил:

Мы ждем, в томленьи упованья,
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты сладкого свиданья.

- А знаете, князь, ведь это, может быть, и не так? – вдруг перестала смеяться и посмотрела на него строго, почти сурово.
- Что не так?
- Да, вот, насчет любви. Не любовь спасет от Хо.
- А что?
- Не знаю, не умею сказать. Есть такие стишки – покойный папенька их очень любил:

В смиреньи сердца надо верить
И терпеливо ждать конца, —

сказала тихо, но в этой тишине была такая сила, что Голицын посмотрел на нее с удивлением: только что была дитя, и вот – женщина.

В эту минуту возок, съезжая с косогора, наклонился набок и едва не опрокинулся. Маринька в испуге вскрикнула и, схватившись за ручку сиденья, положила нечаянно руку на руку Голицына. Он крепко сжал ее и наклонился близко к самому лицу ее. Она чуть-чуть откинулась, хотела отнять руку, но он не пустил.

- Marie, – послышался невнятный голос Нины Львовны за перегородкою.

Маринька прислушалась, но не ответила. И оба притаились в темноте, как дети, которые шалют.

– А у вас над бровью мушка, – прошептал он смеющимся шепотом.

– Не мушка, а родинка, – ответила она таким же веселым шепотом. – Когда я была маленькой, дети дразнили меня: «У Мариньки родинка – Маринька уродинка!»

Он склонился к ней еще ближе, и она еще дальше откинулась.

– Родная, родная, милая! – прошептал он так тихо, что она могла бы не слышать, если б не хотела.

– Marie, où es tu donc, mon enfant³, — позвала Нина Львовна уже внятным, проснувшимся голосом.

– Здесь, маменька! Я сейчас... А вот и станция!

Возок остановился. Красные огни и черные тени в оконце забегали. Маринька встала.

– Не уходите, – шепнул Голицын.

– Нельзя. Маменька будет сердиться.

Он все еще держал ее за руку. Вдруг поднес руку к губам и поцеловал куда никто не целует – в ладонь, теплую, свежую, нежную, как чашечка цветка, солнцем нагретая.

На ночь пересела к нему, по обыкновению, Палашка, а днем – опять Маринька. Госпожа Толычева перестала церемониться и позволяла дочери сидеть с ним сколько угодно.

Но потому ли, что Нина Львовна не спала и могла их слышать, или потому, что Маринька сама вдруг замкнулась, насторожилась после вчерашнего, – разговор был неловок и незначителен. Она рассказывала о своем житье в Черемушках. В рассказе все было просто и буднично, но стариной незапамятной веяло от него, как милою сказкою.

В конце липовой аллеи с грачиными гнездами, на самом обрыве, над тихой речкою Каширкою – дедушкина беседка с полустертою на фронтоне надписью: «Найти здесь спокойство». В этой беседке Маринька читала «Удольфские таинства» госпожи Радклиф и «Страданья Ортенберговой фамилии» господина Коцебу. Вообще любила читать «ужасное и чувствительное». А зимою, в сумерки, когда в полутемной гостиной голубой свет луны сквозь обледенелые окна смешивался с красным светом лампадки из маменькиной спальни, кухня Адель пела под клавикорды старинные песенки, такие глупые, такие нежные:

Звук унылый фортепьяно,
Выражай тоску мою.

Или еще:

Уж пробил час, и нам расстаться,
Быть может, должно навсегда!
Ах, лъзя ль не плакать, не терзаться?
Бог весть, увидимся ль когда.

И Маринька, слушая, плакала.

Верила в гаданья, приметы вещие, которым научила ее старая няня Петровна: если увидит нитку на полу или круг на песке от лейки – ни за что не переступит. Знала, что, когда топится печь и летят искры, – будут гости; а когда петух поет в необычное время, – надобно снять его с насести и пощупать ноги: теплые – к вестям, холодные – к покойнику.

Была хозяйка куда лучше маменьки. У них, в Серпухове, дешево все: мясо – пять копеек фунт, пара цыплят – пятьдесят, огурцы – сорок за четверик. Умела их солить как никто во

³ Мари, где же ты, дитя моё (франц.)

всем уезде. И рукодельница была искусная. Раз начесали шерсти из овечьих душек – что у овец на груди и под шейей, – вымыли и привезли. А Пелагея у них славно прядет – вышла мягкая, чудесная шерсть, но белая вся, а узор без теней вышивать нельзя. Что же бы вы думали? Сама выкрасила и очень недурно; прекрасный коврик вышила.

– Вы это нарочно, Маринька? – рассмеялся, наконец, Голицын, не выдержал.

– Что нарочно?

– Я вам о любви, а вы об огурцах соленых и о душках!

Ничего не ответила, только закусила губку, приложила к ней пальчик и кивнула головой в сторону маменьки, как будто у них была уже общая тайна.

И о чём бы ни говорили, – в каждом слове было иное значение, тайное, важное. Иногда вдруг умолкали, улыбаясь друг другу с удивлением радостным, как будто после долгой разлуки наступило свидание блаженное. И оба чувствовали опять, как вчера, что, хотят не хотят, а сближаются неудержимо растущей близостью. Все еще боялась его, не верила; но, когда сквозь длинные ресницы опущенных глаз ловил он стыдливо блеснувшую ласку, ему казалось, что ласка эта уже не для всех, как вчера, а для него одного.

«Что я делаю? Зачем смущаю бедную девушку?» – иногда опоминаться он, а потом опять все забывал, опьяненный благоуханием любви, которым окружена была милая девушка, как цветущая сирень свежестью росною.

«Вот бы вам, Голицын, жениться на Мариньке», – вспоминал слова Пушкина; принял их тогда за шутку. – «Мы голову несем на плаху, а вы о женитьбе, Пушкин!» – «Ну, что ж, и на плаху идти веселее женатому: все-таки поплачет кто-нибудь. Нет, право, женились бы, избавили бы девушку от старого плута и выжиги, господина Аквилонова».

Самому ему противно было думать, что Маринька выйдет замуж за Аквилонова. Когда в паутине бьется мотылек, хочется спасти его от паука. Но как это сделать? В Петербурге будет ему не до Мариньки: там заговор, восстание, низвержение тирана, освобождение отечества. А может быть, судьбы царств и народов не более весят на весах Божьих, чем судьба одной души человеческой?

Что же такое встреча их – случай или судьба? Если только случай, то почему это узнаванье, вспоминанье вешее, как в сновидении незапамятном? А если судьба, то почему он так уверен или хочет быть уверен, что мог бы полюбить ее, но никогда не полюбит, что в этом сне любви несбыточном, последней радости жизни, он с жизнью навеки прощается? Как тот путешественник, который, спасаясь в пустыне от зверя, кинулся в колодец, повис на суку, рвет ягоды с куста малины и ест, забыв о гибели.

Глядя на лицо ее, такое живое, вспоминал другое лицо, мертвое; в темном свете дневных свечей, в подвенечном белом платье, в гробу, вся тонкая, острая, стройная, стремительная, как стрела летящая, – шестнадцатилетняя девочка, Софья Нарышкина.

Не узнавай, куда я путь склонила,
В какой предел из мира перешла.
О, друг, я все земное совершила:
Я на земле любила и жила.
Нашла ли их, сбылись ли ожидания?
Без страха верь: обмана сердцу нет;
Сбылось все: я в стороне свиданья
И знаю здесь, сколь ваш прекрасен свет.
Друг! На земле великое не тщетно:
Будь тверд, а здесь тебе не изменят...

Не изменит она – не изменит и он. Та первая любовь – последняя. И если бы даже полюбил он Мариньку, не изменил бы Софье. Обе – вместе, земная и небесная. Как в последнем пределе земля и небо – одно, как Софья с Маринькой.

На третьи сутки утром возок подъезжал к Петербургу. Когда миновали последнюю станцию, Пулковое, потянуло со взморья теплом; замерзшее оконце оттаяло, заплакало, и сквозь слезы забелела равнина, унылая, снежная, с болотными кочками, как будто могилами исполнинского кладбища. А на самом краю белой равнины – черные точки – дома Петербурга.

– Ну, прощайте, князь, – сказала Маринька. – Сейчас приедем. Я к жениху, а вы к невесте... Вспоминать обо мне будете?

Он молча поцеловал руку ее, опять, как давеча, в ладонь, теплую, свежую, нежную, как чашечка цветка, солнцем нагретая.

– Придете к нам в Петербурге? – спросила она шепотом.

– Приду.

– А если невеста не пустит?

– Никакой у меня невесты нет.

– Правда?

– Правда.

– Честное слово?

– Честное слово. А у вас, Маринька, нет жениха?

– Не знаю. Может быть, и нет.

И опять улыбнулись друг другу, молча, – узнали, вспомнили. «Я мог бы тебя полюбить», – сказал глубокий взор его. «И я могла бы», – ответила она таким же взором.

– Marie, что же ты? Собираться пора. Палашка, где подорожная? Куда опять запропастила? Ах, девка несносная! – послышался ворчливый голос маменьки.

Потянулись длинные заборы, огороды, лачуги, лавки, постоянные дворы. Наконец, возок остановился у низенького домика с желтыми стенами, забрызганными еще летнею грязью, с полосатыми будками по обоим концам шлагбаума.

Дверца возка открылась, и заглянуло в нее усатое лицо инвалида. Караульный офицер прописал подорожные, скомандовал часовому: «Подвысь!» Шлагбаум поднялся, и нележанец въехал в Петербург.

Глава вторая

С 27 ноября, когда узнали о кончине императора Александра I, в Петербурге наступила тишина необычайная. Все умолкло и замерло, как бы затаило дыхание. Театры были закрыты; музыке запрещено играть на разводах; дамы оделись в траур; в церквах служили панихиды, трезвон колоколов унылый с утра до вечера носился над городом.

Россия присягнула Константину I. Указы подписывались именем его; на монетном дворе чеканились рубли с его изображением; в церквах возглашалось ему многолетие. Со дня на день ждали его самого, но он не приезжал, и по городу ходили слухи. Одни говорили, что отрекся от престола, другие – что согласился, а правда была неизвестна.

Для успокоения столицы объявили, что государыня-мать получила письмо, в коем его величество обещал вскоре прибыть; потом, что великий князь Михаил Павлович к нему навстречу выехал. Но оба известия оказались ложными.

Курьеры скакали из Петербурга в Варшаву, из Варшавы в Петербург; братья обменивались письмами, но толку не было.

– Пора бы кончить эти любезности, – ворчали сановники.

– Когда же, наконец, мы узнаем, кто у нас государь? – выходила из терпения императрица Мария Федоровна.

– На троне лежит у нас гроб, – шептались верноподданные в тихом ужасе.

На другой день после присяги в окна магазинов на Невском выставлены были портреты нового императора. Прохожие толпились перед окнами. На портрете он был дурен, а в действительности – еще хуже. Курнос, как Павел I; большие мутно-голубые глаза навывкате; насупленные брови, торчащие густыми пучками белобрысых волос; такие же волосы на переносице; в минуты гнева вздымались они, щетинились; руки длинные, ниже колен, как обезьяньи лапы: казалось, мог ходить на четвереньках. И весь был похож на обезьяну, огромную, человекоподобную. Вспоминали, как жаловалась бабушка, императрица Екатерина Великая, на бесчинное и бесчестное поведение внука: «Везде, даже и по улицам, обращается с такой непристойностью, что я того и смотрю, что его где ни есть прибьют. Не понимаю, откуда в нем вселился такой подлый санкюлотизм, пред всеми унижающий».

Письма свои к учителю, французу Лагарпу, подписывал: «L'âne Constantin».⁴ Но был не глуп, а только нарочно «валял дурака», чтоб оставили его в покое, не лезли с короною. «Деспотический вихрь», – называли его приближенные. Однажды на смотр лошадей испугалась, шарахнулась. Выхватив палаш, он избил ее так, что она едва не издохла. Лошадью будет Россия, а Константин – бешеным всадником. Надеялись, впрочем, что не захочет царствовать, по «отвращению природному».

– Меня задуют, как задушили отца, – говаривал. – Знаю вас, каналы, знаю! – злобно усмехался. – Теперь кричите «ура», а если потащат меня на лобное место и спросят: «любо ли?», вы так же закричите: «любо! любо!».

Рассказывали, что когда прочел манифест о вступлении своем на престол, с ним сделалось дурно, велел пустить себе кровь.

– Что они, дурачье, вербовать, что ли, вздумали в цари! – кричал в бешенстве. – Не пойду! Сами кашу заварили, сами и расхлебывайте!

Когда в Петербурге узнали об этом, все возмутились.

– Нельзя играть законным наследием престола, как частною собственностью, – говорили одни.

– Почему нельзя? – возражали другие. – В России все можно. Мы трусы. Погрози нам только гауптвахтою – и смиримся.

– Кому бараны достанутся? – держали заклад шутники.

– Какие бараны?

– Мы. Разве нас не гонят от одной присяги к другой, как стадо баранов?

Решали, кто лучше – Константин или Николай?

Император Павел I назначил пятимесячного младенца Николая шефом лейб-гвардии конного полка в чине генерал-лейтенанта. Мальчик, прежде чем научился ходить, бил в барабан и махал игрушечной сабелькой. А когда подрос, вскакивал с постели по ночам, чтобы постоять с ружьем. Никогда ничего не хотел знать, кроме солдатиков. Воспитатель великих князей, дядька Ламсдорф, бил мальчиков по голове ружейным шомполом так, что они почти лишались чувств. «Бог ему судья за бедное образование, нами полученное», – говаривал впоследствии сам Николай.

Никогда не готовился быть наследником; лет до двадцати не имел никаких служебных занятий, и все его знакомство с светом было в дворцовых передних и в секретарской комнате. «Бешен, как Павел, и злопамятен, как Александр». Правда, умен; но ума-то его и боялись пуще всего: чем умнее, тем злее.

В совершенстве усвоил прусский военный устав и вообще был немец. Предсказывали, что со вступлением его на престол немцы наводнят Россию, которая и без того уже кажется «почти завоеванной».

⁴ Осёл Константин (*франц.*)

Константин – зверь, а Николай – машина. Что лучше, машина или зверь?

Глава третья

В зале Государственного Совета, в Зимнем дворце, между генерал-адъютантской комнатой и временными покоями великого князя Николая Павловича, в восемь часов утра все еще было темно, как ночью. Высокие окна, выходившие на двор, зияли чернотой непроницаемой. Черно-желтый туман, казалось, проникал, как дым удушливо-едкий, сквозь окна и стены. Восковые свечи в тяжелых канделябрах, на длинном, крытом зеленым сукном столе, тускло горевшие, освещали только середину залы, а углы тонули во мраке; и там два больших портрета, висевших друг против друга, Екатерины II и Александра I, выступали таинственно-призрачно, как будто Внучек и Бабушка переглядывались, перемигивались с одной и той же улыбкой лукаво-насмешливой.

Старые сановники, в пудре, в шелковых чулках и башмаках, в мундирах, шитых золотом, блуждали как дряхлые тени, сходились, шептались, шушукались. А в самом темном углу сидели молча, не двигаясь, как три изваяния безжизненные, три вставшие из гроба покойника, – семидесятилетний министр внутренних дел Ланской, восьмидесятилетний министр просвещения Шишков и генерал Аракчеев, казавшийся вечным, без возраста. После убийства Настасьи Минкиной в первый раз появился он во дворце.

«Смерть девки отняла у него способность заниматься делами, а кончина государя возвратила ему оную», – говорили о нем.

Все уже знали, что из Варшавы прибыл курьер окончательный с отказом цесаревича, и сегодня должен быть подписан манифест о восшествии на престол императора Николая I. С минуты на минуту ждали князя Александра Николаевича Голицына с манифестом, переписанным набело. Когда открывалась дверь, оглядывались, – не он ли?

Высокого роста, благообразный, милый и важный старик, с полуседыми волосами, зачесанными на верх плешивой головы, с продолговатым, тонким и бледным лицом, с двумя болезненными морщинами около рта – в них меланхолия и чувствительность, – весь тихий, тишайший, осенний, вечерний, – Николай Михайлович Карамзин, стоя у камина, грелся. Все эти дни был болен. «Нервы мои в сильном трепетании. Слабею как младенец от всего», – жаловался. Поражен был смертью государя, как смертью Друга, брата любимого; и еще больше – равнодушием всех к этой смерти. «Все думают только о себе, а о России – никто». Все оскорбляло его, мучило, ранило; хотелось плакать без всякой причины. Чувствовал себя старою – Бедною Лизою».

Николай поручил ему составить манифест о своем восшествии на престол. Составил, но не угодил. «Да благоденствует Россия мирною свободою гражданскою и спокойствием сердец невинных», – эти слова не понравились; велели переделать. Переделал – опять не понравилось. Манифест поручили Сперанскому.

Карамзин огорчился, но продолжал бывать во дворце, говорил о причинах общего неудовольствия и о мерах, какие надо принять для блага отечества.

Никто не слушал его, и он замолчал, отошел. «Кончена, кончена жизнь! Умирать пора», – плакал и смеялся над старою Бедною Лизою.

Стоя теперь у камина, поглядывал издали на все с грустью задумчивой. «Гляжу на все, как на бегущую тень», – говаривал.

Рядом шептались два старичка-сановника.

– Надеюсь, мы вас не лишимся? – спрашивал один.

– Бог знает, что с нами будет! – пожимал плечами другой. – Намедни, за ужином, Петр Петрович шампанским угасивал: «Выпьем, говорит, неизвестно, будем ли завтра живы».

– Все грустить изволите, ваше превосходительство? – сказал, подойдя к Карамзину, оберкамергер Алексей Львович Нарышкин, весь залитый золотом и бриллиантами, с лицом величаво-приветливым и незначительным, с жеманно-любезной улыбкой старых вельмож екатерининских. весельчак, забавник, шутивший даже тогда, когда другим было не до шуток.

– Не я один, а вся Россия... – начал было Карамзин...

– Ну, Россию лучше оставим, – усмехнулся Нарышкин тонкою усмешкою. – Давеча, во время панихиды, на Дворцовой площади расшалились извозчики. Послали унять: стыдно-де смеяться, когда все плачут о покойнике. «А чего, говорят, о нем плакать? Пора и честь знать, вишь сколько процарствовал!» Вот вам и Россия!

Бледное лицо Карамзина вспыхнуло.

– Смею думать, ваше превосходительство, что в России найдутся люди, которые заплатят долг благодарности...

– Ну, полно, мой милый, кто нынче долги платит? Что до меня, я только на одре смерти скажу: *C'est la première dette, que je paye à la nature*,⁵ – рассмеялся Нарышкин.

– Разве так дела делают? Все бумаги перепутали! У вас, сударь, нет царя в голове! – кричал злой карлик с калмыцкой рожицей, министр юстиции Лобанов-Ростовский, на исполняющего должность государственного секретаря, старую седую крысу, Оленина.

– Что это он говорит: нет царя? – не понял князь Лопухин, председатель Государственного Совета и Комитета Министров, кавалер Большого Мальтийского Креста, старик высокий, стройный и представительный, набеленный, нарумяненный, с вставною челюстью и улыбкой сатира. Он страдал глухотой, а в последние дни, от расстройства мыслей, глухота усилилась.

– Говорит, что нет царя в голове у Оленина, – прокричал ему Нарышкин на ухо. – А вы думали что?

– Я думал, нет царя в России.

– Да, пожалуй, и в России, – опять усмехнулся Нарышкин своей тонкой усмешкою. – И ведь вот что, господа, удивительно: уже почти месяц, как мы без царя, а все идет так же ладно или так же неладно, как прежде.

– Все вздор делают! В мячик играют! – продолжал кричать Лобанов.

– Какой мячик? – опять не понял Лопухин.

– Ну, об этом нельзя кричать на ухо, – отмахнулся Нарышкин и шепнул Карамзину. – А вы о мячике слышали?

– Нет, не слышал.

– «*Pendant quinze jours on joue la couronne de Russie au ballon, en se la renvoyant mutuellement*,⁶ – это Лаферонне, французский посол, намерен пошутить изволил. Шуточка отменная, только едва ли войдет в Историю Государства Российского!

Лопухин подставил ухо и, должно быть, услышав имя Лаферонне, понял в чем дело, тоже рассмеялся, обнажая ровные, белые зубы искусственной челюсти, и тленом пахнуло изо рта его как от покойника.

– Ну, как ваши рюматизмы, Николай Михайлович? – проговорил приятно-сиповатым голосом старик лет шестидесяти в довольно поношенном фраке с двумя звездами, венчиком седых завитков вокруг лысого черепа, с лицом белизны удивительной, почти как молоко, с голубыми глазами, вращавшимися медленно, подернутыми влажностью, – «глаза умирающего теленка», – сказал о них кто-то. Это был Михаил Михайлович Сперанский. – А меня геморроиды замучили, – прибавил, не дождавшись ответа, и вынув из табакерки щепотку лаферма двумя длинными тонкими пальцами руки изящнейшей, засунул табак в нос, утерся шелко-

⁵ Это первый долг, который я плачу природе (*франц.*)

⁶ Пятнадцать дней играют Российской короной, перебрасывая её как мячик один другому (*франц.*)

вым красным платком сомнительной чистоты, – на тонкое белье был скупенек, – и проговорил самодовольной улыбкой: – Эх, был бы я молодец, если табаку не нюхал!

– Ну, что, ваше превосходительство, готов манифест? – спросил Карамзин, нарочно давая понять, что не сердится и не завидует.

Сперанский обратил на него свои медленные глаза с едва уловимой усмешкой на тонких губах:

– Ох, уж не говорите! Этот манифест мне вот где! – указал себе на шею. – Как объяснить необъяснимое, растолковать народу эти сделки домашние? Николай отрекается для Константина, а Константин – для Николая. Ни в кузов, ни из кузова.

– Так что же было делать?

– Не открывать завещания, каши не заваривать.

– Презреть волю покойного?

– Мертвые воли не имеют.

– Жестокие слова, ваше превосходительство!

– Лучше слова, чем дела жестокие. Нельзя играть законным наследием престола, как частною собственностью, и покойный государь хоть сколько-нибудь любил свое отечество, которое в двенадцатом году дало ему такие неоспоримые доказательства своей преданности, то как мог подвергнуть Россию... Ну, да что говорить! Последние десять лет превосходят все, что мы когда-либо о железном веке слышали... А впрочем, может быть, «все к лучшему», как ваше превосходительство говорить изволите.

Карамзин молчал. Слезы обиды за друга, за брата любимого кипели в душе его, и он с трудом их удерживал. Облокотившись о мрамор камина, опустил голову и закрыл глаза рукою.

– Нездоровится, ваше превосходительство? – спросил Сперанский.

– Да, голова болит. Должно быть, от нервов. Нервы мои в сильном трепетаньи...

– Это нынче у всех. От погоды, – заметил Сперанский. – А знаете, отличное средство для утверждения нервов: вместо чаю—холодный отвар миллефолия с горькой ромашкой.

– Миллефолий, миллефолий... – повторил Карамзин с улыбкой болезненной; что-то было в этом слове приторно-сладкое, тошное и томное, что застревало в горле комком непроглоченным. И казалось ему, что сам Сперанский с его лицом белизны удивительной, почти как молоко, с бледно-голубыми глазами, подернутыми влажностью, «глазами умирающего теленка», – весь как миллефолий.

Сделал над собой усилие, проглотил комок и отнял руки от глаз.

– Да, все к лучшему, ваше превосходительство, хотя и не в смысле здешнего света, – улыбнулся тихой улыбкою. – Есть Бог – будем спокойны.

– Ваша правда, Николай Михайлович, будем спокойны, – улыбнулся и Сперанский. – Я всегда говорил: *Dei providentia et hominum confusione Ruthenia ducitur*.

– Как? Как вы сказали?

– Божеским Промыслом и человеческою глупостью Россия водится.

Карамзин опять закрыл глаза рукою. Ему хотелось плакать и смеяться вместе.

«Хороши мы оба, – думал он, – в такую минуту, когда решаются судьбы отечества, российский законодатель ничего не находит, кроме смеха, а российский историк – ничего, кроме слез. Кончена, кончена жизнь! Пора умирать, старая Бедная Лиза!»

Открылась дверь в генерал-адъютантскую, и опять все оглянулись. С большим портфелем в руках, семена ножками, маленький, толстенький, кругленький, как шарик, вкатился в комнату князь Александр Николаевич Голицын.

– Ну что, готов манифест? – обступили его все.

– Какой манифест? – притворился он непонимающим.

– Э, полноте, ваше сиятельство, весь город знает!

– Ради Бога, господи, секрет государственный!

– Да уж ладно, не выдадим. Только скажите: готов?

– Готов. Сейчас к подписи.

– Ну, слава Богу! – вздохнули все с облегчением. И в темном углу зашевелились три тени дряхлые. Аракчеев медленно перекрестился.

А на противоположном конце залы открылась другая дверь из коридора во временные покои великого князя Николая Павловича, и генерал-адъютант Бенкендорф, позвякивая шпорами, скользя по паркету, как по льду, выбежал, весь легкий, летящий, порхающий; казалось, что на руках, и ногах его – крылышки, как у бога Меркурия. Гладкий, чистый, вымытый, выбритый, блестящий, как новой чеканки монета. Молодой среди старых, живой среди мертвых. И, глядя на него, все поняли, что старое кончено, начинается новое.

Рассветало. Вставал первый день нового царствования – страшный, темный, ночной день. Черные окна серели – серели и лица трупною серостью. Казалось, вот-вот рассыплется, как пыль, разлетятся, как дым, тени дряхлые, – и ничего от них не останется.

Глава четвертая

«Лейб-гвардии дворянской роты штабс-капитан Романов Третий, – чмок!» – так шутя подписывался под дружескими записками и военными приказами великий князь Николай Павлович в юности и так же иногда приговаривал, глядя в зеркало, когда оставался один в комнате. В темное утро 13 декабря, сидя за бритвенным столиком, между двумя восковыми свечами, перед зеркалом, взглянул на себя и проговорил обычное приветствие.

– Штабс-капитан Романов Третий, всенижайшее почтение вашему здоровью – чмок!

И хотел прибавить: «Молодчина!», но не прибавил – подумал: «Вон как похудел, побледнел. Бедный Никс! Бедный малый! *Pauvre diable! Je deviens transparent!*⁷».

Вообще был доволен своею наружностью. «Аполлон Бельведерский» – называли его дамы. Несмотря на двадцать семь лет, все еще худ худобой почти мальчишеской. Длинный, тонкий, гибкий, как ивовый прут. Узкое лицо, все в профиль. Черты необыкновенно правильные, как из мрамора высеченные, но неподвижные, застывшие. «Когда он входит в комнату, в градуснике ртуть опускается», – сказал о нем кто-то. Жидкие, слабо вьющиеся, рыжевато-белокурые волосы; такие же бачки на впалых щеках; впалые, темные, большие глаза; загнутый, с горбинкой нос; быстро бегущий назад, точно срезанный, лоб; выдающаяся вперед нижняя челюсть. Такое выражение лица, как будто вечно не в духе: на что-то сердится, или болят зубы.

«Аполлон, страдающий зубною болью», – вспомнил шуточку императрицы Елизаветы Алексеевны, глядя на свое угрюмое лицо в зеркале; вспомнил также, что всю ночь болел зуб, мешал спать. Вот и теперь – потрогал пальцем – ноет; как бы флюс не сделался. Неужели взойдет на престол с флюсом? Еще больше огорчился, разозлился.

– Дурак, сколько раз я тебе говорил, чтоб взбивать мыло как следует! – закричал на генерал-адъютанта Владимира Федоровича Адлерберга или попросту «Федорыча», который служил ему камердинером. – И вода простыла! Бритва тупая! – отодвинул чашку и отшвырнул бритву.

Федорыч засуетился молча. Черномазый, полный, мягкий, как вата, казался увальнем, но был расторопен и ловок.

– Ну, что, как Сашка спал? – спросил Николай, немного успокоившись.

– Государь наследник почивать отменно изволили, – ответил Адлерберг. – А с утра все плачут об Аничкином доме и о лошадах.

– О каких лошадах?

⁷ Бедняга! Я становлюсь прозрачным! (*франц.*)

– О деревянных: забыли в Аничкином. «Нет, не о лошадках, а об отце несчастном. Должно быть, беду предчувствует», – подумал Николай.

– Где сегодня обедать изволите, ваше высочество? – спросил Адлерберг.

– В Аничкином, Федорыч, в последний раз в Аничкином! – вздохнул Николай.

Вспомнил, как мечтал «поступить в партикулярную жизнь» и предаться в уединении семейным радостям. «Если кто-нибудь спросит тебя, в каком уголке мира обитает истинное счастье, то сделай одолжение, пошли его в Аничкин рай», – говаривал своему другу Бенкендорфу с тем видом чувствительным, который получил в наследство от матери, императрицы Марии Федоровны.

После кончины брата Александра переехал из Аничкина в Зимний дворец и жил здесь в строгом заключении, как под арестом, считая «неприличным показываться публике». Устроил себе кабинет-спальню в библиотеке бывшей половины короля Прусского, комнате, ближайшей к зале Государственного Совета, с которым соединялась она темным коридором.

Расположился, как на бивуаке. Комната была без углов, круглая. Узкая походная кровать неуютно поставлена рядом со стеклянным книжным шкапом; кожаный матрац набит сеном; к такому спартанскому ложу приучила его бабушка. На полу – открытый чемодан с бельем и платьем неразобранным. Единственный предмет роскоши – большое трюмо из красного дерева. У зеркала, на полочках – щетки, гребенки и склянка духов – «Parfum de la Cour»;⁸ тут же, на особой подставке – ружья, пистолеты, сабли, шпаги и корнет-а-пистон.

Кончив бриться, скинул старенькую шинель, служившую вместо халата, надел генеральский мундир измайловского полка, темно-зеленый, с красным подбоем и золотым шитьем из дубовых листиков.

Стоя перед зеркалом, одевался долго, медленно, тщательно, как молодая красавица на первый бал. Осматривался, оправляя каждую складку; с помощью Адлерберга затягивался, застегивался на все крючочки, петлички, пуговики. В мундире сделался еще длиннее, стройнее, тоньше, с выпяченной грудью, с талией в рюмочку, как молоденький прусский капрал – хоть сейчас на Потсдамский развод.

Кончив одевание, Федорыч вышел из комнаты, а Николай опустился на колени перед образом. Поспешно крестился мелкими крестиками и клал поклоны, стучая лбом. Прочитав положенные молитвы, хотел еще прибавить что-нибудь от себя на предстоящий трудный день. Но ничего не придумал – своих слов не было. Верил в Бога, но когда думал о Нем, представлялась черная дыра, «где строго и жучковато», как император Павел I говаривал о дисциплине в русской армии. Сколько ни молись, ни зови, – никто из дыры не откликнется.

Встал и сел в кресло. Чувствовал себя больным и разбитым. Плохо спал ночь; скверный сон приснился: будто бы вырос большой кривой зуб. Бабушка сказала, что надо вырвать. А он боится, плачет, убегает, прячется. А дядька Ламсдорф с большущей розгой ловит его, – вот-вот поймает и высечет. И – вдруг Ламсдорф уже не Ламсдорф, а брат Константин. Убегая от него, кидается бедный Никс к старой няне, англичанке мисс Лайон, и просит, чтоб она его высекла; знает, что розог все равно не миновать, а она не так больно сечет. И вдруг – няня уже не няня, а кто? Забыл. Помнил только, что сон кончался прескверно.

«А ведь сон в руку», – подумал. Недаром всегда боялся брата Константина, как будто предчувствовал, что он беды наделает; недаром тот издевался над ним еще во чреве матернем. «Никогда я такого брюха не видывал, тут место для четверых!» – шутил сынок над матушкой, когда она была Николаем беременна. И потом всю жизнь издевался. По имени Николая Угодника называл его «Мирликийским царевичем».⁹ «Ни за что, – говорил, – не буду царствовать, потому что боюсь революции. А ты, царевич Мирликийский, разве не боишься? Ведь револю-

⁸ Аромат Двора (*франц.*)

⁹ Св. Николай был архиепископом Мирликийским

ция – та же гроза». И напоминал ему, как в детстве, во время грозы, он прятал под подушку голову. «Я трус и знаю, что трус, а ты храбришься, но хуже моего трусишь». Вот и теперь сам толкнул его на престол и сам же над ним издевается: «Посмотрим, как-то ты из этой глупой истории выпутаешься, император-высочка, un empereur parvenu!»

Николай писал ему любезные письма, называл своим благодетелем, умолял, унижался: «Припадая к стопам твоим, дорогой Константин, умоляю, сжался над несчастным!» И в то же время думал с зубовным скрежетом: «О, подлый шут! О, санкюлот проклятый! Что он со мною делает! За это убить мало!»

Каждое утро, после молитвы, имел обыкновение играть военную зорю на корнет-а-пистоне. Считал себя музыкантом; любил сочинять военные марши. На Потсдамских маневрах мастерски трубил сигналы, пока рота его высочества, Прусского наследного принца, производила учение на площади.

Взял корнет-а-пистон, приставил к губам, надул щеки, но извлек только слабый, жалобный звук и тотчас отложил в сторону. Нет, полно, теперь уж не до музыки. Тяжело вздохнул и опять стало жалко себя: «Pauvre diable! Бедный малый! Бедный Никс!»

– Федорыч, чаю!

– Сию минуту, ваше высочество!

Утром пил чай со сливками и сдобными булками. Но на этот раз без всего: аппетита не было. Бенкендорф доложил о Голицыне.

– С манифестом?

– Так точно, ваше высочество.

– Проси.

Вошел Голицын с Лопухиным и Сперанским.

– Готов?

– Готов, государь.

Голицын подал ему манифест, переписанный набело.

– Прошу садиться, господа, – сказал Николай и стал читать вслух.

– «Объявляем всем верным нашим подданным. В сокрушении сердца, смиряясь перед неисповедимыми судьбами Всевышнего...»

Не глядя на Сперанского, чувствовал на себе пристальный взгляд его. Всегда становилось ему неловко под этим взглядом, слишком ясным и пронизательным.

Считал Сперанского якобинцем отъявленным. Недаром покойный император сослал его и едва не казнил как государственного изменника. «Пальца ему в рот не клади», – думал о нем Николай, и, как бы ни был тот подобострастно-почтителен, все казалось ему, что он смеется над ним, как над маленьким мальчиком. Однажды кто-то при нем назвал Сперанского «великим философом»; Николай промолчал, только усмехнулся язвительно. Философию ненавидел больше всего на свете. А все-таки чувствовал, что нельзя кричать на него, как в манеже на своих офицеров покрикивал: «Господа офицеры, займитесь службой, а не философией. Я философов терпеть не могу! Я всех философов в чухотку вгоню!»

– «Кончиною в Бозе почившего государя императора Александра Павловича, любезнейшего брата нашего, – продолжал читать, – мы лишились отца и государя, двадцать пять лет России и нам благотворившего. Когда известие о сем плачевном событии, в двадцать седьмой день ноября месяца, до нас достигло, в самый первый час скорби и рыданий, мы, укрепляясь духом для исполнения долга священного и следуя движению сердца, принесли присягу верности старейшему брату нашему, государю цесаревичу и великому князю Константину Павловичу, яко законному, по праву первородства, наследнику престола Всероссийского...»

Далее «объяснялось необъяснимое»: тайное завещание покойного императора, отречение Константина в пользу Николая, отречение Николая в пользу Константина – все эти «домашние сделки», «игра законным наследием престола как частною собственностью».

– «Мы видели отречение его высочества, при жизни государя императора учиненное и согласиём его величества утвержденное; но не желали и не имели права сие отречение, в свое время всенародно не объявленное и в закон не обращенное, признавать навсегда невозвратным. Сим желали мы утвердить уважение наше к первому коренному отечественному закону о неколебимости в порядке наследия престола. И вследствие того, пребывая верными присяге, нами данной, мы настояли, чтобы и все государство последовало нашему примеру; и сие учинили мы не в пререкание действительности воли, изъявленной его высочеством, и еще менее в преслушание воли покойного государя императора, общего нашего отца и благодетеля, воли, для нас всегда священной, но дабы оградить коренной закон о порядке наследия престола от всякого прикосновения, дабы отклонить самую тень сомнения в чистоте намерений наших...»

– Невразумительно. О порядке наследия весьма невнятно и невразумительно, – сказал Николай и почувствовал, что на воре шапка горит.

– Изменить прикажете, ваше величество?

Легко сказать: изменить – надо знать как. А этого-то он и не знал.

– Нет, пусть уж так, – махнул рукой и надулся.

– «С сердцем, исполненным благоговения и покорности к неисповедимым судьбам Промысла, нас ведущего, вступая на прародительский наш престол, повелеваем присягу в верности подданства учинить нам и нашему наследнику, его императорскому высочеству великому князю Александру Николаевичу, любезнейшему сыну нашему; время вступления нашего на престол считать с девятнадцатого ноября тысяча восемьсот двадцать пятого года. Наконец, мы призываем всех наших верных подданных соединить с нами теплые мольбы их ко Всевышнему, да ниспошлет нам силы к понесению бремени, святым Промыслом Его на нас возложенного...»

– Не «возложенного», а «возложенному», – поправил Николай.

Сперанский молча взял карандаш.

– Постойте, как же правильней?

– Родительный падеж, ваше величество: «возложенного» – «бремени возложенного».

– Ах, да, родительный... Ну, так и поправлять нечего, – покраснел Николай. Никогда не был тверд в русской грамоте. И опять почудилось ему, что Сперанский смеется над ним, как над маленьким мальчиком.

– «Да укрепит благие намерения наши: жить единственно для любезного отечества, следовать примеру оплакиваемого нами государя; да будет царствование наше токмо продолжением царствования его, и да исполнится все, чего для блага России желал тот, коего священная память будет питать в нас и ревность, и надежду стяжать благословение Божие и любовь народов наших».

Манифест ему нравился. Но он и виду не подал; дочитав до конца, еще больше надулся.

Взял перо, чтобы подписать, и отложил: подумал, что надо бы вспомнить о Боге в такую минуту. Закрыв глаза, перекрестился; но, как всегда, при мысли о Боге, оказалась только черная дыра, где «строго и жучковато»; сколько ни молись, ни зови, – никто из дыры не откликнется. Подписал, уже ни о чем не думая. Только спросил:

– Тринадцатое?

– Так точно, государь, – ответил Сперанский.

«А завтра понедельник», – вспомнил Николай и поморщился. Подписал двенадцатым.

– Счастье имею поздравить ваше императорское величество с восшествием на престол или, вернее, сошествием, – потянулся к нему Лопухин и поцеловал его в плечико.

– Почему сошествием? – удивился Николай.

– А потому, что фамилия вашего императорского величества так, высоко поднялась в общем мнении публики, что члены оной как бы уже не восходят, а скорей, нисходят на престол, – осклабился Лопухин с любезностью, обнажая белые ровные зубы искусственной челюсти, и тленем пахнуло изо рта его, как от покойника.

– Ангел-то, ангел наш с небес взирает! – всхлипнул Голицын и тоже поцеловал Николая в плечико.

– Не с чем меня поздравлять, господа, – обо мне сожалеть должно, – проговорил Николай угрюмо и вдруг с почти нескрываемым вызовом обернулся к Сперанскому, который сидел молча, потупившись. – Ну, а вы, Михайло Михайлыч, что скажете?

– «Да будет царствование наше токмо продолжением царствования его», никогда я себе этих слов не прошу, ваше величество, – поднял на него Сперанский медленные глаза свои.

– Это не ваши слова, а мои. И чем они плохи?

– Не того ждет Россия от вашего величества.

– А чего же?

– Нового Петра.

Лесть была грубая и тонкая вместе. «Il y a beaucoup de praporchique en lui et un peu de Pierre le Grand»,¹⁰ – сказал однажды Сперанский о великом князе Николае Павловиче и мог бы то же сказать об императоре.

Вдруг наклонился, поймал руку его, хотел поцеловать; но тот поспешно отдернул ее, обнял его и поцеловал в лысину.

– Ну, полно, ваше превосходительство, лстить изволите, – усмехнулся недоверчиво, а сердце все-таки сладко дрогнуло: «второй Петр» был его мечтою давнею.

Помолчал и прибавил:

– Я никогда не думал вступать на престол. Меня воспитывали как будущего бригадного. Но надеюсь быть достойным своего звания; надеюсь также, что как я исполнил свой долг, так и все оный предо мною выполнят. Когда же приобрету необходимые сведения, то поставлю каждого на свое место. Философия не мое дело. Пусть господа философы как себе хотят, а для меня – жить значит служить; и если бы все служили как следует, то всюду был бы порядок и спокойствие. Вот, господа, вся моя философия!

Взглянул на Сперанского. Тот молчал, зажмурив глаза и наклонив голову, как будто слушал музыку.

– А за сим, – продолжал Николай, возвышая голос, – не допускаю и мысли, чтобы во всем, касающемся дел вверенной мне Богом империи, кто-либо из подданных осмелился уклониться от указанного мною пути.

Говорил коротко, отрывисто, как будто с кем-то спорил или на кого-то сердился; входил во вкус – покрякивал, как молодой петушок, который хорохорится, но еще не умеет кричать как следует.

– И если я буду хоть на один час императором, то покажу, что был того достоин, – кончил и встал.

– Государственный Совет, ваше сиятельство, – обратился к Лопухину, – извольте собрать сегодня к восьми часам вечера для объявления манифеста и учинения присяги. И прошу вас, господа, чтоб никто не знал... Сегодня прошу, а завтра буду приказывать, – опять не удержался, кончил окриком.

Лопухин, Голицын и Сперанский вышли из комнаты. В одну дверь вышли, а в другую вошел Бенкендорф.

Бедный остзейский дворянин, будущий великий сыщик, шеф жандармов, начальник III Отделения, генерал-адъютант Александр Христофорович Бенкендорф, имел наружность приятную, даже благородную, только лицо слегка помятое, – видно было, человек пожил; улыбка неподвижно-любезная, взор обманчиво-добрый, как у людей равнодушно-уклончивых. Не глуп, не зол, но рассеян и легок на все. «Скользите, смертные, – не напирайте. Glissez, mortels, n'appuyez pas», – говаривал.

¹⁰ В нем много от прапорщика и мало от Петра Великого (франц.)

Когда он вошел, в лице Николая сразу, без всякого перехода, одно выражение заменилось другим – угрюмо-надутое – умиленно-чувствительным. Вообще, выражения лица его менялись мгновенно, внезапно до странности, как будто снимались и надевались маски. «Множество масок, но нет лица», – сказал о нем кто-то.

Схватил Бенкендорфа обеими руками за руки и уставился в лицо его молча.

– Подписать изволили, ваше величество?

– Подписал, – тяжело вздохнул Николай и поднял глаза к небу. – Я долг свой исполнил: наш ангел должен быть мною доволен. Все будет в порядке кончено, или я жив не останусь. Воля Божья и приговор братний надо мною совершаются. Я, может быть, иду на гибель, но нельзя иначе. Жертвую собою для брата; счастлив, если, как подданный, исполню волю его. Но что будет с Россией?..

Долго еще говорил. Привычку к болтовне слезливой получил тоже в наследство от матери.

Бенкендорф ждал с терпеливою скукою, когда он кончит.

– Ну что, как в городе? – проговорил Николай уже другим, деловым голосом, утирая платком сухие глаза и опять так же мгновенно, как давеча, одна маска упала, другая наделась.

– Все тихо, ваше величество. Но, может быть, тишина перед бурей.

– А все-таки бури ждешь?

– Жду, государь. Число недовольных слишком велико. Революция в умах уже существует.

– А с Ростовцевым-то, кажется, я вчера оплошал, – вдруг вспомнил Николай. – Так и не узнал имен. Никогда себе не прощу. Узнать бы имена да арестовать...

– Ни-ни, ваше величество, никаких арестов! А то вся шайка разбежится. Да и первый день царствования омрачать не следует.

– А если начнут действовать?

– Пусть, тогда и аресты никого не удивят. Потихоньку, полегоньку, с осторожностью. Ожесточать людей не надо. Ненавистников у вас и без того довольно.

– Зато друг один! – воскликнул Николай и крепко пожал ему руку.

Подошел к столу, отпер ящик и вынул пакет с надписью: «О самонужнейшем. Его Императорскому Величеству в собственные руки». Это был привезенный накануне Фредериксом из Таганрога донос генерала Дибича.

– На, прочти. Тут еще целый заговор.

– Во второй армии? Тайное Общество подполковника Пестеля? – спросил Бенкендорф, не раскрывая пакета.

– А ты уже знаешь? – удивился, почти испугался Николай; «Вот он какой! На аршин под землей видит!»

– Знаю, ваше величество. Еще в двадцать первом году имел счастье представить о сем донесении покойному государю императору.

– Ну, и что ж?

– Изволили оставить без внимания. Четыре года пролежала записка в столе.

– Хорошенькое наследство оставил нам покойник, – усмехнулся Николай злобно.

– Никому о сем деле говорить не изволили, ваше величество? – посмотрел на него Бенкендорф пронизательно.

– Никому, – солгал Николай: стыдно было признаться, что и тут «сглупил» – сообщил о доносе Милорадовичу.

– Ну, слава Богу. Главное, чтоб не узнал Милорадович, – как будто угадал Бенкендорф мысль Николая. – Я тогда же осмелился доложить его величеству, что дела сего нельзя поручать Милорадовичу.

– Почему?

– Потому что он сам окружен злодеями.

– Милорадович? И он с ними? – побледнел Николай.

– С ними ли, нет ли, а только он, может быть, хуже всех заговорщиков. Страшно подумать, ваше величество, – судьба отечества в руках этого паяца бездушного! Я о нем такое слышал наемни, что ушам не поверил.

– Что же?

– Увольте, государь. Повторять гнусно.

– Нет, говори.

– Когда двадцать седьмого ноября, по открытии завещания покойного государя императора, Милорадович с неслыханной дерзостью воспротивился вступлению на престол вашего величества, кто-то ему говорит: «Вы, говорит, очень смело действуете, граф». А он: «Когда, говорит, шестьдесят тысяч штыков имеешь в кармане, можно быть смелым!» – засмеялся и похлопал себя по карману.

– Мерзавец! – прошептал Николай, еще больше бледнея.

– А давеча мне самому говорит, – продолжал Бенкендорф, – «Сомневаюсь, говорит, в успехе присяги. Гвардия не любит его», то есть вашего императорского величества. «О каком, говорю, успехе вы говорите? И при чем тут гвардия? Какой голос она может иметь?» – «Совершенно, говорит, справедливо: им не следует иметь голоса, но это обратилось у них уже в привычку, вторую натуру».

– Мерзавец! – опять прошептал Николай.

– «Воля, говорит, покойного государя, изустно произнесенная, была бы священна для гвардии; но объявление, по смерти его, духовного завещания непременно будет сочтено подлогом».

– Подлогом? – вздрогнул Николай, и лицо его вспыхнуло, как от пощечины. – Что ж это, что ж это значит? Самозванец я, что ли?

– Граф Милорадович, ваше величество, – доложил Адлерберг, тихонько приотворяя дверь и просовывая голову.

«Не принимать!» – хотел было крикнуть Николай, но не успел: дверь открылась настежь и молодецкой походкой, позвякивая шпорами, вошел петербургский военный генерал-губернатор, граф Милорадович.

Выходя из комнаты, Бенкендорф столкнулся с ним в дверях и, низко поклонившись, уступил ему дорогу с особенной любезностью.

Сподвижник Суворова, герой Двенадцатого года, Милорадович, несмотря на шестой десяток, все еще сохранил осанку бравую, тот вид победительный, с каким, бывало, в огне сражений, под пушечными ядрами, раскуривал трубку и поправлял складки на своем плаще амарантовом.¹¹ «Рыцарем Баярдом»¹² называли его одни, а другие – «хвастунишкой, фанфароннишкой». У него были крашенные волосы, большой крючковатый нос, пухлые губы и масляные глазки старого дамского угодника.

Взглянув на Милорадовича, Николай вдруг вспомнил конец своего сна о кривом зубе: когда, убегая от Ламсдорфа – Константина, бросился он к старой няне, англичанке мисс Лайон, – все-таки не так больно высечет, – то оказалось, что няня уже не няня, а Милорадович с большущей розгой, которой он и высек бедного Никса пребольно – еще больнее, чем Ламсдорф – Константин.

Милорадович вошел, поклонился, хотел что-то сказать, но взглянул на Николая и онемел – такая лютая ненависть была в искривленном лице его и глазах сверкающих. Но это промелькнуло, как молния, маска переменялась: глаза потухли, и лицо сделалось недвижимым, точно каменным; один только мускул в щеке дрожал непрерывною дрожью.

¹¹ малиновом (*франц.* amarante)

¹² Баярд, Пьер дю Террайль (1476–1524) – известный французский полководец, «Рыцарь без страха и упрека»

– А я давно вас поджидаю, ваше сиятельство. Прошу садиться, – сказал он спокойно и вежливо.

Перемена была так внезапна, что Милорадович подумал, не померещилось ли ему то, другое лицо, искаженное.

– Ну что, как дела? Арестовали кого-нибудь? – спросил Николай.

– Никак нет, ваше высочество. Из лиц, поименованных в донесении генерала Дибича, никого нет в городе, все в отпуску. А насчет подполковника Пестеля приказ об аресте послан.

– Ну, а здесь, в Петербурге, спокойно?

– Спокойно. Порядок примерный по всем частям. Можно сказать, такого порядка никогда еще не бывало. Я почти уверен, что сообщников подобного злодеяния здесь вовсе нет.

– Почти уверены?

– Мнение мое известно вашему высочеству: для совершенной уверенности надлежало бы государю цесаревичу поспешить приездом в Петербург, прочесть духовную покойного государя в общем собрании Сената и, провозгласив ваше высочество государем императором, тут же первому приступить к присяге.

– Ну, а если этого не будет, тогда что? В успехе присяги сомневаетесь? Гвардия не любит меня? И хотя им не следует иметь голоса, но это обратилось у них уже в привычку, вторую натуру? Так что ли? – посмотрел на него Николай пристально, и мускул в щеке задрожал сильнее.

«Должно быть, подлец Бенкендорф донес», – подумал Милорадович, но не опустил глаз – начал вдруг сердиться.

– Извините, ваше высочество...

– Не высочество, а величество, – перебил Николай грозно. – Манифест уже подписан.

– Счастье имею поздравить, ваше величество, – поклонился Милорадович. – Но я все-таки должен исполнить свой долг. Я никогда не утаивал правды от вашего высочества... вашего величества, и теперь не утаю: да, нелегко заставить присягнуть посредством манифеста, изданного от того лица, которое желает воссесть на престол...

– Ага, договорились! Подлогом сочтут манифест, а меня самозванцем? Так что ли? – усмехнулся Николай, и опять что-то сверкнуло в лице его, как молния.

– Не понимаю, ваше величество...

– Не понимаете, граф? Собственных слов не понимаете?

– Не знаю, какой подлец передал слова мои в столь извращенном виде. И охота вашему высочеству слушать доносчиков, – побледнел Милорадович, и в старом «хвастунишке», «фанфаронишке» вдруг промелькнул старый солдат, сподвижник Суворова. Он глядел прямо в глаза Николаю с тем видом победительным, с которым, бывало, в огне сражений, под пушечными ядрами, раскуривал трубку и поправлял складки на своем плаще амарантовом.

Николай молча встал, подошел к столу, отпер ящик, тот самый, из которого давеча вынул донос Дибича, достал бумагу – это было письмо-донос Ростовцева – и вернулся к Милорадовичу.

– Известно ли вашему сиятельству, что и здесь, в Петербурге, существует заговор?

– Какой заговор? Никакого заговора нет и быть не может, – пожал плечами Милорадович.

– А это что? – сунул ему письмо Николай и, указывая на подчеркнутые строки, прочел:

– «Против вас должно таиться возмущение. Оно вспыхнет при новой присяге, и, может быть, это зарево осветит конечную гибель России».

Милорадович взял письмо, перевернул, взглянул на подпись и отдал, не читая.

– Подпоручик Ростовцев. Знаю. Собрания «Полярной Звезды» у Рылеева...

Об этих собраниях доносила ему тайная полиция. «Все, вздор! Оставьте этих мальчишек в покое читать друг другу свои дрянные стишонки», – отмахивался он с беспечностью.

И теперь отмахнулся:

– Все вздор! Мальчишки, писачки, альманашники...

– Как вы, сударь, смеете! – закричал Николай и вскочил в бешенстве; все тело его, длинное, тонкое, гибкое, разогнулось, как согнутый ивовый прут. – Ничего вы не знаете! Ни за чем не смотрите! Вы мне за это головой ответите!

Милорадович тоже встал, весь трясаясь от злобы; но, сдержав себя, проговорил с достоинством:

– Если я не имел счастья заслужить доверенность вашего высочества, извольте повелеть сдать должность...

– Молчать!

– Позвольте узнать, ваше высочество...

– Молчать!

Несмотря на бешенство, Николай все создавал и, если бы хотел, мог овладеть собою, но не хотел: точно огненный напиток, разлился по жилам восторг бешенства, и он предавался ему с упоением.

– Вон! Вон! Вон! – кричал, сжимая кулаки, топая ногами и наступая на Милорадовича.

«Бросится сейчас и не ударит, а укусит, как помешанный», – подумал тот с отвращением и начал пятиться к двери: как большой добрый пес, весь ошестинившись, с глухим рычанием, пятится перед маленьким злым насекомым – пауком или сороконожкой.

Допятившись до двери, быстро повернулся и хотел выбежать из комнаты. Но опять, как давеча, столкнулся в дверях с Бенкендорфом. Разминулись уже без всякой любезности.

Бенкендорф подбежал к Николаю и обнял его, делая вид, что поддерживает.

– Мерзавец! Мерзавец! Что он со мною делает! И он, и брат Константин, и все, все!.. – упал к нему на грудь Николай, всхлипывая.

– Courage, sire, courage!¹³ – повторял Бенкендорф. – Бог не оставит вас...

– Да, Бог... и тот, кого всю жизнь оплакивать будем, тел наш на небеси, – поднял Николай глаза. – Я им дышу, им действую, пусть же он мне предводительствует! Да будет воля Божья, я на все готов. Умрем вместе, мой друг! Если мне суждено погибнуть, то у меня шпага с темляком – вывеска благородного человека. Я умру с нею в руках и предстану на суд Божий с чистою совестью. Завтра, четырнадцатого, я – или государь, или мертв!

Глава пятая

13 декабря, утром, Голицын с Оболенским поехали к Рылеву.

Подъезжая к дому Российско-Американской Компании, у Синего моста, на Мойке, Голицын узнал еще издали окна в нижнем этаже, с чугунной выпуклой решеткой.

Знакомый казачок Филька отпер им дверь и пропустил их без доклада, как, должно быть, пропускал всех. В последние дни у Рылеева с утра до ночи толпились гости, приходили и уходили, уже без всякой осторожности. Тут было сборное место, как бы главный штаб заговорщиков.

В маленькой столовой все по-прежнему и по-иному: белые кисейные занавески на окнах потемнели от пыли и копоти; бальзамины и бархатцы в горшках позасохли; половички повытерлись; невощенный пол потускнел; канареечная клетка опустела; лампадки перед образами потухли. Дверь в гостиную и спальню, где уютилась в тесноте жена Рылеева с дочкою, была закрыта наглухо. Как будто от всего отлетело то веселенькое, невинное, именинное и новобрачное, что было здесь некогда.

Хозяина не было в комнате. Незнакомые Голицыну военные и штатские, сидя за столом у самовара, вели беседу вполголоса.

¹³ Мужайтесь, ваше величество, мужайтесь! (франц.)

– Дома Рылеев? – спросил Оболенский, здороваясь.

– У себя в кабинете. Кажется, спит. Да ничего, войдите. Велел разбудить, когда приедете.

Оболенский постучался в дверь. Никто не ответил. Он отворил и вошел вместе с Голицыным в узенькую комнатку, где трудно было повернуться между большим кожаным диваном, письменным столом, книжным шкапом и сваленными пачками «Полярной Звезды», альманаха, издаваемого Александром Бестужевым и Рылеевым. Окна выходили на задний двор с грязно-желтой стеной соседнего дома.

Было жарко натоплено. Пахло лекарствами. На ночном столике у дивана стояло множество склянок с рецептами.

На диване спал Рылеев в старом халате, с шерстяным вязаным платком на шее, с лицом неподвижным, как у мертвого. Похудел, осунулся так, что Голицын едва узнал его. Простудился, когда две ночи ходил по улицам, бунтуя солдат; заболел жабою; поправлялся, но все еще был нездоров.

Голицын остановился у двери. Оболенский подошел к дивану. Половица скрипнула. Спящий открыл глаза и уставился на вошедших мутным взором, неузнающим, невидящим.

– Что это? Что это? – тихо вскрикнул, приподнялся и обеими руками, судорожно, как будто задыхаясь, начал срывать с шеи платок. Но от неловких движений узел затягивался.

– погоди, дай развяжу, – наклонился к нему Оболенский, распутал узел и снял платок.

– Разбудили мы тебя, напугали, Рылеюшка бедненький, – сказал, присев на диван и глядя его рукой по голове с тихой ласкою. – Дурной сон приснился?

– Да, опять эта гадость. Который раз уж снится!

– Да что такое?

– Не знаю, не помню... Что ж вы стоите, Голицын? Садитесь... Кажется, все насчет этой самой веревки...

– Какой веревки?

Рылеев ничего не ответил, только улыбался странной улыбкой: в ней был остаток бреда. И Оболенский тоже замолчал, вспомнил, как во время жабы ставили Рылееву мушку на шею и, делая перевязку, нечаянно задели за рану; Рылеев вскрикнул от боли, а Николай Бестужев рассмеялся: «Как тебе не стыдно кричать от таких пустяков! Забыл, к чему шею готовишь?»

– А у тебя опять лихорадка. Вон голова горячая. Не надо было сегодня выходить, – сказал Оболенский, положив ему руку на лоб.

– Не сегодня – так завтра. Ведь уж завтра-то выйду наверное, – опять улыбнулся Рылеев той же странной, сонной улыбкой.

– А завтра что?

– Э, черт! О пустяках говорим, а главного-то вы и не знаете, – начал он уже другим голосом: только теперь проснулся, как следует. – Окончательный курьер из Варшавы приехал с отречением Константина. Завтра в семь часов утра собирается Сенат, и в войсках будет присяга Николаю Павловичу.

Со дня на день ждали этой вести, а все-таки весть была неожиданной. Поняли: завтра восстание. Замолчали, задумались.

– Будем ли готовы? – сказал, наконец, Оболенский.

Рылеев пожал плечами.

– Да, глупый вопрос! Никогда не будем готовы. Ну, что ж, завтра так завтра. С Богом! – решил Оболенский и, опять помолчав, прибавил: —А что ж делать с Ростовцевым?

Ростовцев, хотя и не член Тайного Общества, но приятель многих членов, кое-что знал о делах заговорщиков. Свое свидание с великим князем Николаем Павловичем он изложил в рукописи под заглавием «Прекраснейший день моей жизни», которую отдал накануне Оболенскому и Рылееву, сказав: «Делайте со мною, что хотите, – я не мог поступить иначе».

– Мое мнение ты знаешь, – ответил Рылеев.

– Знаю. Но ведь убить подлеца, значит на себя донести. И стоит ли руки марать?
– Стоит, – произнес Рылеев тихо. – А вы, Голицын, что скажете?
– Скажу, что Ростовцев ставит свечку Богу и дьяволу. Николаю открывает заговор, а перед нами умывает руки. Но ведь в этом признании он мог открыть и утаить все, что угодно.
– Итак, вы думаете, что мы уже заявлены? – спросил Рылеев.
– Непременно, и будем взяты, если не сейчас, так после присяги, – ответил Голицын.
– Что же делать?
– Никому не говорить о доносе и действовать. Лучше быть взятыми на площади, нежели в постели. Уж если погибать, так пусть, по крайней мере, знают, за что мы погибли!
– А ты, Оболенский, как думаешь? – опять спросил Рылеев.
– Ну, конечно, так же.
Рылеев одной рукой взял руку Голицына, другой – Оболенского.
– Спасибо, друзья. Я знал, что вы это скажете. Итак, с Богом! Мы начнем. И пусть ничего сами не сделаем, зато научим других. Пусть погибнем – и самая гибель наша пробудит чувства уснувших сынов отечества!

Говорил, как всегда, книжно, непросто; но просты были глаза, на исхудалом лице огромные, темные и ясные, горевшие таким огнем, что становилось жутко; просто было лицо, на котором выражалось прежде слов все, что он чувствовал: «Так выступают изваяния на прозрачных стенках алебастровой вазы, когда внутри зажжен огонь», – вспомнились Голицыну слова Мура о Байроне.

Вспомнились также стихи Рылеева:

Известно мне: гибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа;
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?

– Да, наконец-то мы можем сказать: завтра начнем, – продолжал Рылеев. – Как я ждал этой минуты, как радовался! И вот, наступила минута. Отчего же нет радости? Отчего душа моя прискорбна даже до смерти?

Облокотился на колени, положил голову на руки и ссутулился, сторбился, как будто весь поник под навалившейся тяжестью. Слезы задрожали в голосе.

– Простите, друзья! Не надо об этом...

– Нет, надо, Рылеев. Говори все, легче будет, – сказал Оболенский.

– «Планщиком» назвал меня Пушкин. «Не поэт, а планщик». Да, планщик и есть, – усмехнулся Рылеев. – Умозритель свободы, а не делатель. Планы черчу, а не строю.

– Не вы одни, Рылеев, мы все такие же, – возразил Голицын.

– Да, все. Намедни, ночью, когда ходил по улицам, где-то в глухом переулочке, между казармами, собралась кучка солдат, слушают; о новой присяге все понимают: «Грудью, говорят, встанем за царя Константина, не выдадим!» Ну, я и разошелся, заговорил о конституции, о вольности, о правах человечества. А за спиной, слышу, смеется солдатик пьяненький да ласково так, будто жалеючи: «Эх, барин, барин, хороший барин, да бестолковый! Кажись, и по-русски говорит, а ничего не поймешь!» Только всего и сказал, а я вдруг понял. Да, в России – нерусские, своим – чужие, безродные, бездомные, пришельцы, скитальцы, изгнанники вечные. Даже не смеем сказать, что восстаем за вольность, – говорим: за царя Константина. Лжем. А когда узнает правду народ, то нас же проклянет, предаст палачам на распятие. Верьте, друзья, я никогда не надеялся, что дело наше может состояться иначе, как нашею собственною гибелью.

лю. Но все-таки думал, что увидим страну обетованную, хоть издали. Нет, не увидим. Не увидят свободной России наши глаза, ни глаза наших внуков и правнуков! Погибнем бесславно, бесследно, бессмысленно. Разобьем голову об стену, а из темницы не вырвемся. Кости наши сгниют, а надежды наши не сбудутся... О, тяжело, братья, тяжело, сверх сил!

Не кончил и закрыл лицо руками.

Оболенский опять подсел к нему и начал гладить его по голове с тихой ласкою. Как всегда в минуты нежности, называл его «Коньком» – от «Коня», Кондратий.

– Устал ты, измучился, Конек мой бедненький!

– Устал, Оболенский, ох, как устал! Вот, говорят, другая жизнь. А с меня и этой довольно. Так устал, что, кажется, мало смерти, мало вечности, чтобы отдохнуть...

– А знаете, о чем я все думаю? – продолжал, помолчав. – Что это значит: да идет чаша сия мимо Меня. Как мог Он это сказать? Для того и пришел, чтобы чашу испить, – и вот не захотел, ослабел, ужаснулся. Это Он-то, Он – Бог! Совсем как человек... А что, Голицын, есть Бог? Только просто скажите – есть?

– Есть, Рылеев, – ответил Голицын и улыбнулся.

– Да, вот как просто сказали, – улыбнулся и Рылеев. – Ну, не знаю, может, и есть. А только вам-то на что? Ведь вы свободы хотите?

– А разве нет свободы с Богом?

– Нет. С Богом – рабство.

– Было рабство, а будет свобода.

– Будет ли? И когда еще будет? А сейчас... Нет, холодно, Голицын, холодно!

– Что холодно, Рылеев?

– Да вот ваш Бог, ваше небо. Кто любит небо, не любит земли.

– А разве нельзя вместе?

– Научите как?

– Он уже научил: да будет воля Твоя на земле, как на небе. Тут уже вместе.

– Планщик!

– Ну, что ж, пусть. За этот «план» умереть стоит!

Рылеев ничего не ответил, закрыл глаза, опустил голову, и слезы потекли по лицу его, такие тихие, что он сам их не чувствовал.

Оболенский наклонился к нему и обнимал, целовал, как больного ребенка, с тихой ласкою:

– Ничего, ничего, Конек! Небось, все будет ладно. Христос с тобой!

Глава шестая

Князь Евгений Петрович Оболенский, поручик лейб-гвардии Финляндского полка, старший адъютант командующего гвардейской пехотой, генерал-адъютанта Бистрома, был одним из главных учредителей Северного Тайного Общества.

В Москве, под Новинским, в приходе Покрова, в старинном, как бы деревенском, помещицьем доме, с флигелями и службами, среди густого, дремучего сада, жила семья Оболенских, без вельможных затей, просто и весело. Старый князь Петр Николаевич, рано овдовев, вел в миру иноческую жизнь, в посте и молитве. По наружности казался печальным и суровым. Но недаром маленькие внучки любили его без памяти и за легкие, как пух, седые волосы прозвали «Одуванчиком»: таким он и был – весь легкий, светлый и нежный – с детьми сам как дитя.

Князь Евгений был первенец от второго брака князя Петра Николаевича Оболенского на Анне Евгеньевне Кашкиной, дочери генерал-аншефа, Тульского наместника при императрице

Екатерине II. После смерти княгини Анны родная сестра ее Александра Евгеньевна, фрейлина императрицы Марии Федоровны, заменила детям покойную мать.

Когда молодой Оболенский поступил в гвардейский Павловский полк и переехал на житье в Петербург, тетка его, Анна Гавриловна Кашкина, поручила ему, как старшему, надзор за своим единственным сыном Сережею, совсем еще молоденьким мальчиком, шалуном и повесою, служившим в том же полку. Язычок у Сережи был острый, как бритва. Однажды пошутил он над полковым товарищем, поручиком Свиныным, и тот вызвал его на дуэль. Оболенский, узнав об этом, поехал к обиженному и объявил, что дуэли не бывать, Сергей – мальчишка, на которого сердиться не стоит, а уж если Свинын хочет непременно драться, то пусть дерется с ним, с Оболенским. Свинын принял вызов, дрался и был убит.

Человек добрый, неспособный мухи обидеть – нравом весь в отца, в Одуванчика, – князь Евгений был так потрясен этим убийством, что заболел; но виноватым себя не считал и никаких угрызений совести не чувствовал: думал, что убийство на дуэли – не преступление, а несчастье; к тому же, дрался не за себя, а за брата, единственного сына матери, почти ребенка, которого нельзя было спасти иначе. Мысли эти так успокоили его, что, когда он выздоровел и вернулся к прежней рассеянной жизни, то забыл обо всем. Но вспомнил. Опять забыл, опять вспомнил – и так много раз, пока, наконец, не почувствовал, что никогда не забудет, и чем дальше, тем воспоминание живее, острее, невыносимее. И хуже всего было то, что он сам не понимал, что с ним; продолжал считать себя невиновным, а между тем мучился так, что бывали минуты, когда ему казалось, что он сойдет с ума или наложит на себя руки.

В одну из таких минут начал молиться, почти бессознательно, повторяя слова детских молитв – «Отче наш», «Богородицу» – и стало легче. С тех пор часто молился и мало-помалу оживал, как человек полузадохшийся, который начинает дышать.

Наконец, понял, что ему становится легче только тогда, когда он перестает себя извинять, принимает всю тяжесть вины и считает себя самым обыкновенным убийцею, несколько не лучше, а, может быть, хуже тех, что режут людей на больших дорогах; понял, что нельзя оправдать, а можно только искупить вину. Но еще не знал как. Думал бросить все и уйти в монастырь, но чувствовал, что этого мало: легче уйти, чем остаться в миру. Надо было деваться куда-нибудь, и он поступил сначала в ложу Каменщиков,¹⁴ а оттуда – в Северное Тайное Общество. И скоро почувствовал, что здесь найдет то, чего искал, – свой искупительный подвиг.

Внутренне изменился до неузнаваемости, а наружно оставался тем же блестящим гвардейским поручиком с довольно приятным, но обыкновенным лицом, здоровым, гладким, белым и румяным, круглым, безусым и безбородым; моложе своих лет – ему было двадцать девять.

По приезде Голицына из Василькова Оболенский часто видался с ним и с жадностью слушал рассказы его о Южном Обществе, о Славянах, о Сергее Муравьеве и его «Катехизисе». Главную мысль Муравьева о свободе с Богом он сразу понял.

Утром 13 декабря от Рылеева Оболенский с Голицыным пошли к Трубецкому.

На Английскую набережную, где жил Трубецкой, можно было пройти от Синего моста прямо по Вознесенскому. Но после душевной рылеевской комнаты им захотелось подышать свежим воздухом, и, решив сделать крюк, пошли по набережной Мойки, к Поцелуеву мосту, чтобы, завернув направо за угол Морских казарм, выйти на Галерную.

В середине города было еще мало снега, но здесь – на пустынной Мойке – все уже бело, тихо, сонно и мягко. Между белым пуховиком земли и серым пологом неба желтенькие низенькие домики спали непробудным сном. И в этой уютной, как будто деревенской, тихости, серости, сонности казался невозможным завтрашний бунт, как в зимнем небе – молния.

Прохожих ни души: можно было говорить, как у себя в комнате.

¹⁴ Т. е. масонов (от *франц.* масон – каменщик)

– Трубецкой знает, что завтра? – спросил Голицын.

– Нет. Мы ему скажем.

– А правда, говорят, будто он охладел к Обществу?

– Может быть, и правда.

– Трусит, что ли?

– Не думаю. На Шевардинском редуте, под ядрами, четырнадцать часов простоял так спокойно, как будто играл в шахматы. Но храбрость солдата – не храбрость заговорщика. Под Люценом, когда французы из сорока орудий громили нашу гвардию, Трубецкой вздумал пошутить над поручиком фон Боком; подошел к нему сзади и бросил ком земли, а тот свалился без чувств. Так и сам он, может быть, завтра свалится. Для такого дела, как наше, нет человека менее пригодного. Нерешителен и вежлив – вежлив до сумасшествия. Себя и других готов погубить, только бы не сделать какого невежества. И революции хочет вежливой – революции на розовой воде. Это одно; а другое – слишком благополучен: молод, богат, знатен, женат на прелестной женщине. Евангельский юноша, который отошел с печалью от Господа, потому что у него было большое имение...

– В такую минуту отойти – подлость! – воскликнул Голицын.

Оболенский посмотрел на него немного исподлобья, пристальным взором умных и добрых глаз, слегка прищуренных, как будто улыбающихся, а на самом деле, без всякой улыбки, серьезных, даже печальных.

– Нет, тут не подлость.

– А что же?

– Да вот, пожалуй, то самое, о чем говорил давеча Рылеев: не делатели, а умозрители. «Планшики», теорики, лунатики. Ходим по крыше, по самому краю, а назови любого по имени, – упадет и разобьется оземь. Все наше восстание – Мария без Марфы,¹⁵ душа без тела. И не мы одни, – все русские люди такие же: чудесные люди в мыслях, а в деле – квашни, размазни, точно без костей мягкие. Должно быть, от рабства. Слишком долго были рабами.

– Послушайте, Оболенский, а ведь дело плохо. Завтра восстание, а диктатор наш думает, как бы изменить повежливей. И зачем такого выбрали? Чего смотрел Рылеев?

– Ну, где же Рылееву? Ведь он совсем людей не знает. И себя-то самого не знает. Видели, как мучается, а отчего – не знает.

– А вы знаете?

– Кажется, знаю.

– Отчего же?

– От крови, – произнес Оболенский тихо, слегка изменившимся голосом.

– От какой крови?

– Кровь надо пролить, убить, – продолжал он еще тише. – Все обдумал, решил, расчел, как по пальцам. Помните Пестелев счет, сколько будет жертв? Тогда Рылеев не захотел, ужаснулся, а теперь сам считает: одного государя убить мало, – надо всех членов царской фамилии. Убийство одного не только не будет полезно, но, напротив, пагубно для цели Общества; разделит умы, составит партии, взволнует приверженцев царского дома и породит войну междоусобную. С истреблением же всех – все поневоле примирятся, и новое правление установится. Да, обдумал, решил, расчел, как по пальцам, а что-то мешает. И сам не знает что, оттого и мучается.

– А вы и это знаете?

¹⁵ Мария и Марфа – сестры, которых посетил Христос. Марфа готовила угощение, а Мария слушала Христа (Евангелие от Луки, X, 38–42)

– Знаю, – ответил Оболенский и замолчал. Голицын – тоже. и обоим стало вдруг неловко, как будто стыдно смотреть друг другу в глаза. Какая-то тяжесть навалилась на них, и чем дольше молчание, тем больше тяжесть.

Завернули с Мойки на Крюков канал. Здесь было еще пустынное, глуше, – только снег хрустел под ногами. Видели, что никого нет, но казалось, что кто-то за ними идет и подслушивает.

– Я знаю, что нельзя убить, – проговорил, наконец, Оболенский так странно-внезапно, что Голицын посмотрел на него с удивлением.

– Почему нельзя? Грех?

– Не грех, а просто нельзя, невозможно.

– Как невозможно? Убивают же люди друг друга.

– Убивают в безумии, в беспамятстве, нечаянно, а нарочно, в полном рассудке, нельзя.

Решить: убью – и убить, – этого человек не может.

– Ну, нет, может.

– Скажите пример.

– Да вот хоть война или смертная казнь.

– Это совсем другое. Казнит закон, а закон слеп, лица человека не видит – один закон для всех, И на войне тоже все убивают всех, а кто кого – неизвестно, лица не видно. А тут лицо, лицо – главное. Увидеть человека в лицо и убить – вот что невозможно. Не понимаете?

– Не понимаю, – вдруг почему-то рассердился Голицын. Вспомнил свое согласие с Пестелем – «всех до корня истребить», – и оно показалось ему легким по сравнению с этою тяжестью, которая теперь навалилась на них. – Вы как-то странно говорите, Оболенский, как будто что-то знаете, – заглянул ему прямо в лицо и увидел, что он покраснел густо-густо, до ушей, до корня волос; так краснеют маленькие дети, когда готовы расплакаться.

– Да, знаю, – проговорил Оболенский с усилием и вдруг начал бледнеть, бледнеть и побледнел, побелел как полотно. – А вы, может быть, не знаете, Голицын, что я человека убил, – прошептал почти беззвучным шепотом, и побелевшие губы улыбнулись так, что у Голицына сердце упало.

– Простите, Евгений Петрович, ради Бога! Вы меня не так поняли... Ну, какое же это убийство – на дуэли?

– Все равно, какое. Убил – и знаю. Опять оба замолчали, и тяжесть навалилась еще невыносимее.

– А у меня Трубецкой все из головы не выходит. Ведь этот, пожалуй, хуже Ростовцева, – хотел было Голицын переменить разговор, сбросить тяжесть, но вышло неестественно, и он сам это почувствовал. Опять рассердился. Жалел Оболенского, но чем сильнее жалел, тем больше сердился.

– А знаете что, Оболенский, – заговорил сухо, почти грубо, – волков бояться, в лес не ходить: если нельзя убивать, так и бунтовать не надо.

– Нет, надо, – возразил Оболенский опять так же тихо, как давеча; по мере того, как один горячился, другой утихал.

– Какой же бунт без крови? На розовой воде, по Трубецкому, что ли?

– Не бойтесь, Голицын, будет кровь. Нельзя убить нарочно, а ненарочных убийств всегда было сколько угодно, и у нас будут.

– А, вот что! Ну, кажется, я, наконец, начинаю понимать. Дураки убивать будут, а умные станут в сторонке, чтоб не запачкаться?

– Зачем вы так говорите? – взглянул на него Оболенский с укором. – Вы же знаете, что мы идем на муку крестную – вместе, все вместе. Больше этой муки нет на земле.

– Какая мука? Какая мука? Говорите прямо, надо убивать или не надо?

– Надо.

- И можно?
- Нет, нельзя.
- Нельзя и надо вместе?
- Да, вместе.

– Да ведь это значит рассудка лишиться? – остановился Голицын и затопал ногами в бешенстве. – Черт бы нас всех побрал! Что мы делаем! Что мы делаем! Рылеев мучается, Трубецкой изменяет, Ростовцев доносит, а мы с вами рассудка лишаемся. Квашни, размазни, точно без костей мягкие, русские люди, подлые, подлые! Святое дело в подлых руках!

– Ну, что ж, Голицын, какие есть, – улыбнулся Оболенский, и от этой улыбки лицо его вдруг изменилось, просветлело неузнаваемо. – А все-таки надо, все-таки надо начать. Пусть мягкие – укрепим; пусть подлые – очистимся. И пусть ничего не сделаем – другие сделают. «Да будет один царь на земле и на небе – Иисус Христос», – это вся Россия когда-нибудь скажет – и сделает. Господь не покинет России. Только бы с Ним, только бы с Ним – и такая будет революция, какой мир не видал!

Глава седьмая

«Диктатор» заговорщиков, князь Сергей Петрович Трубецкой, полковник лейб-гвардии Преображенского полка, жил в доме своего тестя, графа Лавалья, на Английской набережной, около Сената.

Полуниций француз-эмигрант, женившись на московской купеческой дочке, миллионщице, наследнице семнадцати тысяч душ и богатейших медных заводов на Урале, Лаваль вышел в люди, сделался русским графом, камергером, тайным советником, директором департамента в министерстве иностранных дел. На балах и раутах его собиралось все высшее общество, дипломатический корпус и царская фамилия. Одна из его дочерей, Зинаида, была замужем за графом Лебцельтерном, австрийским посланником, другая, Екатерина – за князем Трубецким.

На верхней лестничной площадке, выложенной древними мраморными плитами из дворца Нерона, встретил Голицына и Оболенского почтительно-ласково старичок-камердинер, седенький, в черном атласном фраке, в черных шелковых чулках и башмаках, похожий на старого дипломата, и через ряд великолепных, точно дворцовых, покоев провел их на половину князеву, в его кабинет. Это была огромная, заставленная книжными шкапами, комната, с окнами на Неву, очень светлая, но уютно затененная темными коврами, темной дубовой облицовкой стен и темно-зеленою сафьянную мебелью.

Хозяин встретил гостей со своей обычной, тихой и ровной, не светскою любезностью.

– Мы к вам на минутку, князь, – начал Оболенский, не садясь, несмотря на приглашение хозяина. – Рылеев очень просит вас пожаловать...

– Ах, Боже мой! – схватился Трубецкой за голову. – Я так виноват перед ним! Верите ли, господа, каждый день собираюсь, и вот все эти штабные дела проклятые. Но непременно, непременно, на днях... завтра же...

– Не завтра, а сегодня, сейчас. Мы за вами приехали, князь, и без вас не уедем, – произнес Оболенский с твердостью.

– Сейчас? Я, право, господа, не знаю... Да что ж вы стоите, садитесь. Ну, хоть на минутку. Не угодно ли позавтракать?

От завтрака отказались решительно, но должны были усестись в глубокие, колыбельно-мягкие кресла, у камина, уютно пылавшего в белесоватых полуденных сумерках. Заметив, что огонь может беспокоить Голицына, Трубецкой подвинул экран так, чтобы ногам было тепло, а лицу не жарко, и только тогда уселся против них, спиной к свету – невольная уловка людей застенчивых.

– Дайте, господа, хоть с мыслями собраться. Голицын оглянулся на дверь. Трубецкой встал, подошел к ней и запер на ключ.

– А та – на половину княгинину, там сейчас никого, – указал на другую дверь.

– Позвольте, господа, говорить откровенно.

– Откровенность лучше всего, – подтвердил Голицын, взглядываясь в Трубецкого пристально.

Одет по-домашнему, во фраке. Не очень молод – лет за тридцать. Высок, сутул, худ, со впалую грудью, как у чахоточных, рябоват, рыжеват, с растрепанными жидкими бачками, с оттопыренными ушами, длинным, узким лицом, большим загнутым носом, толстыми губами и двумя болезненными морщинками по углам рта. Немного похож на «жида», как дразнили его в детстве товарищи. Некрасив, но в больших серых глазах, детски-простых, печальных и добрых, такое благородство, что Голицын подумал: «Уж полно, не ошиблись ли мы с Оболенским?»

И вспомнились ему слова из сочиненной Трубецким конституции – «Устава Славяно-Русской Империи»: «Рабство отменяется, разделение между благородными и простолюдинами не принимается, поелику оно противно христианской вере, по которой все люди – братья, все рождены на благо и все просто люди, ибо все пред Богом слабы». Весь он был в этих словах: не Брут, не Робеспьер и Марат, а вельможный «либералист», добрый русский князь, идущий к простому народу со свободой, братством и равенством. «Дон Кишот революции».

– Мое положение в Обществе весьма тягостно. Я чувствую, что не имею духу действовать к гибели, но боюсь, что власти не имею уже остановить, – заговорил глухим, сиповатым, но приятно-мягким голосом. «Слушаешь, точно рукой проводишь по бархату», – казалось Голицыну.

– Им нужно одно мое имя. Рылеев распоряжается всем, а я ничего не знаю. Не знаю даже, как попал в диктаторы...

Голицын чувствовал легкий запах чайной розы и все не понимал, откуда. Наконец, опустив глаза, увидел на ручке кресла, в котором сидел, маленький дамский кружевной платок. Взял и понюхал. Трубецкой взглянул на него и чуть-чуть покраснел, замолчал. Голицын, тоже молча, подал ему платок; он сунул его в боковой карман и продолжал говорить.

– У Рылеева решимость действовать почти без всякой надежды. Но судя по средствам и по намерениям, сие есть верх безумия, верх безумия – вот...

Имел привычку повторять последние слова, немного запинаясь, растягивая и пришепелявая; в этом косноязычии было что-то вельможного-расслабленного и детски-простодушного.

– Войск, кои могут быть употреблены для целей Общества, недостаточно. Никто из важных лиц в сем предприятии не участвует. Набрали пустой молодежи, которая только болтает. Но болтают в гостиных, а на площадях и улицах молчат. Смешно подумать, что три-четыре прапорщика, без весу, без имени, мыслят поколебать столетиями основанную империю... столетиями основанную империю – вот...

– Serge, вы здесь? – раздался молодой женский голос, и Голицын, оглянувшись, увидел на пороге незапертой двери, той, что вела на половину княгинину, незнакомую даму. Она хотела войти, но, заметив гостей, остановилась в нерешимости.

– Здравствуйтесь, князь, – узнала Оболенского и подошла к нему. – Извините, господа, кажется, я помешала?

– Позвольте, мой друг, представить вам князя Голицына, – сказал Трубецкой.

Целуя руку ее, Голицын почувствовал запах чайной розы. Вся в черном – в трауре по покойному императоре, – с черными гладкими начесами волос на висках, она сама напоминала желтоватую, ровную и свежую бледность лица чайную розу. Catache – от Cathérine – звали ее по-французски, а по-русски, немного смешно – «Каташею», но верно: маленькая, кругленькая, крепенькая, с быстрыми движениями, катающаяся, как точеный из слоновой кости шарик.

Все замолчали. Княгиня переглянулась с мужем, и по одному этому взгляду видно было, как они счастливы. Сами себя считали старою парочкой, а другим все еще казались «молодыми». Когда бывали вместе на людях, улыбались виноватой улыбкой, как будто стыдились своего счастья.

Улыбнулись и теперь, но в глазах у обоих была тревога вещая.

«Знает ли она, кто мы и зачем пришли? Если и не знает, то чувствует», – подумал Голицын и почему-то вдруг вспомнил Мариньку.

После нескольких любезных слов княгиня простилась.

– Еще раз, господа, извините. Не забудьте, мой друг, у Белосельских, в четыре часа. Я за вами карету пришлю, – выходя, обернулась к мужу, и опять в глазах была тревога вещая.

– Ради Бога, господа, извините! Я, право, не знал... Мне сказали, что княгиня уехала, – пролепетал Трубецкой в смущении.

– Полно, князь, – остановил его Голицын. – Если бы даже княгиня знала все, невелика беда. Неприятие женщин в общество я всегда почитал несправедливостью. Чем они хуже нас? А такие, как ваша супруга...

– Да ведь вы ее не знаете?

– Довольно увидеть, чтобы узнать.

Трубецкой весь просиял, покраснел и улыбнулся опять, как давеча, виновато-счастливой улыбкой.

– Ну, и ладно, и будет об этом, – заключил Голицын. – Время, господа, уходить. Будем же кончать скорее. Итак, Трубецкой, вы полагаете, что дело наше сверх сил?

– Да, Голицын, надо иметь хоть каплю рассудка, чтобы видеть всю невозможность этого дела, всю невозможность – вот... Никто на него не решится, кроме тех, кои довели себя до политического сумасшествия...

– Вот именно, до сумасшествия, – поддакнул Голицын. Все время поддакивал, ловил его, «испытывал». А Оболенский, видимо страдая, молчал.

– Очень рад, господа, что вы меня поняли. Скажу прямо: я до последней минуты надеялся, что, оставаясь в сношении с членами Общества, как бы в виде начальника, я успею отвратить зло и сохранить хоть некоторый вид законности. Но ведь они сейчас Бог весть что затеяли: они хотят всех, хотят всех – вот... – прошептал Трубецкой испуганным шепотом, не смея выговорить страшных слов: «хотят истребить всех членов царской фамилии».

– А вы всех не хотите? Никого не хотите?

– Нет, не хочу, не могу, Голицын. Я не рожден убийцею...

– Так что же делать, князь? Вам бы должно отказаться от диктаторства, а, пожалуй, и совсем выйти из Общества? – посмотрел ему Голицын прямо в глаза с тихой усмешкой.

Трубецкой замолчал: должно быть, вдруг западню почувствовал.

– Ну, так как же, князь? А? Как честному человеку, вам надобно ответить прямо – да или нет, остаетесь с нами или уходите? – проговорил Голицын с вызовом уже не скрываемым.

– Я, право, не знаю. Я еще подумаю...

– Подумаете? Да вот беда, ваше сиятельство, думать-то некогда: мы ведь завтра начинаем...

– Завтра? Как завтра? – пролепетал Трубецкой, уставившись на Голицына взором непонимающим.

– Ах, да, ведь вы еще не знаете, – посмотрел на него Голицын из-под очков, усмехаясь злорадно и, как всегда в такие минуты, лицо его отяжелело, окаменело, сделалось похожим на маску. – Окончательный курьер уже прибыл из Варшавы с отречением Константина; завтра в семь часов утра по всем войскам присяга; мы собираемся на площади Сената и начинаем восстание...

– Восста... восста... – хотел Трубецкой выговорить и не мог; голос пресекался, глаза расширились, лицо побледнело, позеленело, вытянулось, толстые губы задрожали, и он вдруг сделался еще более похож на «жида».

«Ожидовел от страха», – подумал Голицын с отвращением.

– Что же вы молчите, сударь? Извольте отвечать!

– Перестаньте, Голицын, не смейте! – вскочил Оболенский и подбежал к Трубецкому. – Как вам не стыдно! Разве не видите?

Трубецкой откинул голову на спинку кресла и закатил глаза. Оболенский расстегнул ему ворот рубашки.

– Воды! Воды!

Голицын отыскал графин, налил и подал стакан. Трубецкой хватался губами за края, и зубы стучали о стекло. Долго не мог справиться. Наконец, выпил, опять откинул голову и передохнул.

Оболенский, нагнувшись к нему, гладил его рукой по голове, как давеча Рылеева.

– Ну, ничего, ничего, Трубецкой! Не слушайте Голицына: он вас не знает. Ужо поговорим с Рылеевым и как-нибудь устроим. Все будет ладно, все будет ладно!

– Да я ничего, пустяки, пройдет. У меня сердце... Все эти дни не очень здоров, а давеча выпил кофе, так вот, должно быть, от этого. Ну, и сразу... Я не могу, когда так сразу... Извините, господа, ради Бога, извините...

Рыжеватые волосы прилипли к потному лбу, толстые губы все еще дрожали, улыбаясь, и в этой улыбке было что-то детски-простое, жалкое: Дон Кихот от бреда очнувшийся; лунатик, упавший с крыши и разбившийся.

Голицыну вдруг стало стыдно, как будто он обидел ребенка. Отвернулся, чтобы не видеть. Боялся жалости: чувствовал, что, если только начнет жалеть, все простит, оправдает «изменника».

– Послушайте, князь, – начал, не глядя на Трубецкого.

– Послушайте, Голицын, – перебил Оболенский спокойно и твердо, – я имею поручение от Рылеева привезти к нему Трубецкого. И я это сделаю. А вы не мешайте, прошу вас, оставьте нас. Поезжайте к Рылееву и скажите ему, что будем сейчас.

– Я только хотел сказать...

– Ступайте же, Голицын, ступайте! Делайте, что вам говорят!

– Это что ж, приказание?

– Да, приказание.

– Слушаю-с, – неловко усмехнулся Голицын, сухо поклонился и вышел.

«Все умные люди – дураки ужасные», – вспомнилось ему изречение. Умным дураком чувствовал себя в эту минуту.

«Да, Трубецкой *отошел с печалью*, как тот богач евангельский. Но чем он хуже меня, хуже нас всех? Кто знает, что будет с нами завтра? Не отойдем ли и мы с печалью?» – подумал Голицын.

Глава восьмая

Когда он вернулся к Рылееву, тот уже умылся, побрился, скинул халат, надел фрак, хотя и домашний, но щегольской, темно-коричневый, «плюсовый»,¹⁶ с модным из турецкой шали поджилетником и высоким белым галстухом. Выйдя в залу, он, в разговоре с гостями, как всегда оживился и с лихорадочным блеском в глазах, лихорадочным румянцем на щеках казался почти здоровым.

¹⁶ от *франц.* *рисе* – блоха

Утрешнего Рылеева Голицын не узнал – зато узнал давнишнего: лицо худое, скуластое, смуглое, немного цыганское; глаза под густыми черными бровями, огромные, ясно-темные; женственно-тонкие губы с прелестною улыбкою; вьющиеся волосы тщательно в колечки приглажены, на виски начесаны, а на затылке упрямый хохол мальчишеский. И весь он – легкий, как бы летящий, стремительный, подобно развеваемому ветром пламени.

Через час, вслед за Голицыным, приехал Оболенский с Трубецким. Рылеев увел их в кабинет, затворил дверь в залу, где собралось уже много народу, и прямо начал о восстании.

– Все мы полагаемся на вас, Трубецкой, в принятии мер в теперешних обстоятельствах, ибо случай такой, какого упускать нельзя.

– Неужели, Рылеев, вы думаете действовать?

– Действовать, непременно действовать! Сами обстоятельства призывают к начатию действий. Теперь или никогда! Случай единственный, и если мы ничего не сделаем, то заслужим во всей силе имя подлецов, – сказал Рылеев, глядя на него в упор. – А вы что думаете, князь?

– Думаю, что надобно прежде узнать, какой дух в войсках и какие средства Общество имеет.

– Какие бы ни были средства, отступать уже нельзя: слишком далеко зашли. Может быть, нам уже изменили, и все уже открыто. Вот извольте прочесть, – подал он письмо Ростовцева.

Трубецкой едва заглянул в него: не мог читать от волнения.

– Это что же, донос?

– Как видите. Ножны изломаны и сабель спрятать нельзя. Мы обречены на гибель.

– Да ведь не только сами погибнем, но и других погубим. А мы не имеем права никого губить, никого губить, – вот... – начал Трубецкой и подумал: «Теперь надо все сказать, объявить, что желаю отойти от Общества». С этим и ехал к Рылееву. Но язык не поворачивался: так невозможно было это сказать, как оскорбить, ударить по лицу человека невинного.

Звонок за звонком раздавался в передней.

– Что так много наезжает? – спросил Трубецкой.

– О курьере слышали, – ответил Рылеев и, помолчав, спросил: – Какую же силу, князь, вы полагаете достаточной?

– Несколько полков. По крайней мере, тысяч шесть человек, или хотя бы один старый гвардейский полк, потому что к младшим не пристанут.

– Так нечего и хлопотать: за два полка, Московский и лейб-гренадерский, я отвечаю наверное! – воскликнул Рылеев.

– Это только слова, – проговорил Оболенский. – Напрасно ты берешься отвечать так твердо: мы не можем поручиться ни за одного человека.

Рылеев взглянул на Оболенского и ничего не ответил, только пожал плечами и заговорил о плане восстания.

То легкое, летящее, стремительное, подобное развеваемому ветром пламени, что было в нем самом, передавалось и всем окружающим. Как будто он приказывал – и нельзя было противиться.

Трубецкой, слушая Рылеева, сам мало-помалу увлекся – так струна, смычком не задетая, отвечает рядом звенящей струне, – и начал развивать свой план.

– Мой план таков. Как скоро собраны будут полки для новой присяги и солдаты окажут сопротивление, то офицерам вывести их к ближнему полку, а когда тот пристанет, – к следующему, – и так далее. Когда же полки почти всей или большей части гвардии будут собраны вместе, – требовать прибытия государя цесаревича. Так будет соблюден весь вид законности и упорство полков сочтено верностью, но цель Общества уже потеряна. Если же известие к цесаревичу не будет послано, то идти к Сенату и требовать издания манифеста, в коем объявить, что назначаются выборные люди от всех сословий для утверждения, за кем остаться престолу и на каких основаниях. Между тем Сенат должен утвердить Временное Правление, пока не

будет учреждена Великим Собором народных представителей новая конституция Российская. По объявлении же сего манифеста, войскам непременно выступить из города и расположиться близ одного лагерем, дабы сохранить и посреди самого бунта совершенную тишину и спокойствие, тишину и спокойствие – вот...

«Революция на розовой воде», – вспомнилось Голицыну.

– Прекрасный план, Трубецкой, – сказал Рылеев. – Только боюсь, не долго ли будет от полка к полку ходить? И разве это непременно нужно?

– Непременно. Как же иначе?

– А так – прямо на площадь. Я полагаю, что довольно одной роте взбунтоваться, чтоб совершился переворот. Хоть пятьдесят человек придет, я становлюсь в ряды с ними! – воскликнул Рылеев, и глаза его загорелись таким огнем, что Трубецкому стало жутко. Он вдруг замолчал и почувствовал, что говорит совсем не то, что надо.

За дверью стоял гул голосов. Говорили все вместе, кричали, спорили. Слов не было слышно, но крик был такой, что казалось, вот-вот подерутся.

Вдруг с шумом распахнулась дверь, и в комнату вбежал лейб-гвардии московского полка штабс-капитан князь Щепин-Ростовский, весь красный, потный, растрепанный, взъерошенный, неистовый, похожий на пьяного или сумасшедшего.

– Ну и к черту вас всех, подлецы, трусы, изменники! – вопил он, потрясая кулаками. – Делайте, что знаете, а я...

– Чего вы, сударь, кричите? Мы не глухие, – остановил его Рылеев спокойно, и тот на мгновение опешил.

– Послушайте, Рылеев, не могу я больше с ними! С этими филантропами ничего не поделаешь! Тут просто надобно резать, резать, да и только! А если не хотят, я первый пойду и на себя донесу...

– Да замолчите же, черт вас побери! – вскочил Рылеев и затопал ногами. – Взбесились вы, что ли? И чего лезете? Разве не видите, мы делом заняты. Ступайте, ступайте вон! – схватил он его за плечи и, хотя казался маленьким, слабеньким перед огромным Щепиным, так ловко повернул и вытолкал из комнаты, что Оболенский с Голицыным не успели опомниться, как все уже было кончено.

Рассмеялись. Но Трубецкому было не до смеху.

– Ну, вот, слышали? Это что же такое, Рылеев? А? – пролепетал он, бледнея.

– Ничего, Трубецкой, не беспокойтесь. Он только так говорит. Я его уйму. Он у меня в руках. Крикун, буян, а сердце доброе.

– Сердце доброе, а резать хочет, – продолжал Трубецкой. – И не он один, а все. Только о крови, об убийстве и думают. Нет, господа, я не могу... Бог видит душу мою: я не был никогда ни злодеем, ни извергом и произвольным убийцей быть не могу, не могу – вот...

«Я желаю отойти от Общества», – хотел сказать и не сказал – опять язык не повернулся. Чем больше хотел, тем меньше мог.

– Ну, я пойду, – вдруг поднялся и подал руку Рылееву со странно-внезапной поспешностью.

– Куда вы? Пойдите. Как же так? Ведь мы еще не решили...

– Да что же решать? Все равно не решим.

– А ведь, пожалуй, что так: не решим. А может, и решать не надо. Обстоятельства покажут... Ну, ладно, с Богом! Значит, до завтра? – положил ему руки на плечи и приблизил лицо к лицу его так, что он почувствовал его дыхание. – А вы, Трубецкой, на меня не сердитесь? Не сердитесь, голубчик, ради Бога! – улыбнулся детски-нежной улыбкой. – Уж виноват, сам знаю, что виноват! Распоряжался, не слушался, вольничал. Ну, да уж этого больше не будет, кончено. Завтра вы диктатор, а я рядовой, ваш раб верноподданный. Пикни только кто против вас, – своими руками убью! Ну, Христос с вами! – хотел его обнять, но тот отшатнулся и

побледнел еще больше. – И обнять не хотите? Так, значит, сердитесь? – заглянул ему прямо в глаза Рылеев.

Трубецкой думал только о том, как бы уйти поскорей: боялся, чтобы опять дурно не сделалось. Вдруг обнял и поцеловал Рылеева. «Целованием ли предаешь Сына Человеческого?»¹⁷ – подумал и выбежал из комнаты.

Опомнился только на площадке лестницы. Почувствовал, что кто-то держит его за полу шинели. Оглянулся и увидел Оболенского. Он что-то говорил ему. Трубецкой долго не мог понять что; наконец понял:

– А все-таки будете завтра на площади?

Сделал над собой усилие.

– Да что ж, если две какие-нибудь роты придут, что может быть? Кажется, все тихо пройдет, – ответил почти спокойно.

– А все-таки будете? – не отставал Оболенский, держал его за полу. Но Трубецкой уже ничего не ответил, вырвался, выбежал на улицу, бросился в карету, крикнул кучеру: «Домой!», захлопнул дверь и забился в угол, ни жив, ни мертв.

В карете пахло чайною розою – милым Каташиным запахом.

«Еще не знает! А ведь узнает когда-нибудь», – подумал с новым ужасом.

«А все-таки будете завтра на площади?» – опять прозвучало в ушах.

Вскочил, потянулся к окну, хотел опустить стекло и крикнуть кучеру: «Назад, к Рылееву!» Но ослабел, изнемог, упал на подушки, как будто весь вдруг сделался мягким, жидким.

Глава девятая

Голицын решил, едучи в Петербург, остановиться в гостинице Демута на Мойке, у Полицейского моста. К себе на квартиру, в дом Бауера, у Прачешного моста, не заезжал, потому что она стояла все лето неубранная, а единственный слуга его, старый камердинер, уехал на побывку в деревню; да и сыщиков боялся, – знал от Рылеева, что за ним следят. Но когда привез в почтовом дилижансе из Москвы обеих спутниц своих, госпожу Толычеву с дочерью, к Наталье Кирилловне Ржевской, сдал их ей с рук на руки и стал прощаться, чтобы ехать в гостиницу, старуха об этом и слышать не захотела.

– Что ты, батюшка, помилуй! Слыхано ли дело, из честного дома гостя в трактир отпустить! Мало тебе горниц, что ли? Весь дом пустехонек. Живи на здоровье. Да ведь ты же нам и свой человек.

Едва не с первых минут знакомства Наталья Кирилловна сосчиталась с ним свойством отдаленнейшим.

Голицын согласился тем охотнее, что ему казалось, что в доме ее он будет в большей безопасности, и еще потому, что не хотелось расставаться с Маринькой.

Дом Ржевской был на Фонтанке, у Аларчина моста. Место глухое. Кругом пустырь; только на окраине его виднелись низенькие домики. Иногда, по ночам, в темноте, с пустыря слышались вопли: «Караул! Грабят!» Испуганные люди вскакивали с постелей, отворяли форточки, высовывали головы и отвечали как можно внушительней: «Идем!» – но не шли, а снова забивались в теплые постели и с головой под одеяла прятались.

Окруженный старым садом, когда-то регулярным, но давно уже запущенным, дом похож был на загородный дворец вельмож екатерининских.

В больших сенях, с колоннами и мраморной лестницей, седые слуги дремали, вязали чулки или читали псалтырь вполголоса. В обширных залах штофные обои на стенах полиняли и выцвели. Хрустальные подвески на люстрах, прозрачно-темные, как дымчатые топазы,

¹⁷ с этим вопросом обратился Христос к Иуде (Евангелие от Луки, XXII, 48)

тускло мерцали, дрожа и звеня, когда кто-нибудь шел по комнате. Огромные голландские печи из голубых изразцов были жарко натоплены. Во всех покоях накурено смолкою и тишина мертвая.

Бабушкина комната – угольная. Стены боскетом расписаны. Здесь, как в лавке старьевщика, шифоньерки, этажерки, стеклянные шкафчики с фарфоровыми куколками, круглые столики с медной решеткой, пузатые комоды с китайской инкрустацией – все напоминало о веке ином. На окнах – низенькие ширмочки с малиновыми стеклами, кидавшими на все предметы и лица нежный отсвет розовый, похожий на вечный закат. У одного из окон – клетка и подставка с шестом для белого, с желтым хохолком, попугая, Потапа Потапыча.

Бабушка была маленькая, сухенькая старушка с очень бледным, точно восковым, лицом, как у покойника: казалось, пролежала сутки в гробу, встала и опять начала жить. Всегда в туалете – шелковом платье стального цвета, с рюшевым бароком около шеи, в белом тюлевом, с широким рюшем, чепце, в глянцевитых мелких фальшивых букольках – en grappes de raisin;¹⁸ меховая кацавейка на плечах: старушка вечно зябла. За полчаса перед тем, как ей выйти из спальни, особая немка-приживалка, жирная, как купеческая лошадь, садилась в кресло и нагревала место.

Бабушка в кресле сидела прямо, несмотря на множество подушечек, шерстяных, шелковых и бисерных. Рядом с нею, на столике, стояла коробочка с пудрою: старушка часто пудрилась и потом утиралась платочком или шкуркою из пузыря, домодельною. На круглой скамеечке, у ног ее, лежала, свернувшись, белая болонка Фиделька, презлая.

– Скажи, зачем ты так трясешь подносом? – спрашивала бабушка, когда поутру девка Марфушка подавала ей чай.

– Фиделька больно ноги кусает.

– Должно ли из-за этого трясти подносом? – удивлялась Наталья Кирилловна.

Была очень мнительна; при малейшем нездоровье ложилась в постель и привязывала к «пульсам» укусные тряпочки. Не любила слышать о покойниках. Старая приживалка Захаровна прослышит, бывало, что кто-нибудь умер, придет к ней в спальню и шепнет на ухо.

– Молчи, что я знаю. Ты мне не говорила, слышишь! – строго скажет ей бабушка.

Однажды в мезонине, почти над самой старушкиной спальней, умерла другая приживалка, – в доме их было множество.

– Умерла, – шепнула Захаровна бабушке, указывая пальцем наверх.

– Ну, и молчи.

Вынесли покойницу украдкою, схоронили, а бабушка так и не помянула о ней, как будто никогда ее на свете не было.

Много видела на своем веку, а потому всего боялась и вздыхала о том, «как легко фортуна изменяется».

– Вся жизнь наша не что иное, как газардная¹⁹ игра! После двух легких ударов часто впадала в полубеспамятство; тогда целыми днями сидела молча, не двигаясь, и тусклым взором следила, как попугай качается на колышке, пронзительно выкрикивая: «Потап Потапыч Потапов!» А потом вдруг оживлялась и вспоминала молодость, когда была фрейлиной при дворе Екатерины. Сообщала таинственным шепотом, как о последней новости, что князь Платон Зубов, «се charmant vaugien»,²⁰ сумел убедить ее величество в своем «приятном умоначертании». Вспоминала с умилением о любезности императрицы-матушки.

– Бывало, заметит, что солнце кого беспокоит, – тотчас к окну подойдет и шторку опустит собственными ручками. Но зато и спуску не давала предерзостным: обер-секретарю Тайной

¹⁸ в виде виноградных гроздьев (*франц.*)

¹⁹ от *франц.* jeu de hazard – азартная игра

²⁰ этот очаровательный повеса (*франц.*)

Экспедиции, Шешковскому, велено было взять из маскарада не в меру болтливую генеральшу Кожину, слегка на теле наказать и обратно туда же доставить со всякою благопристойностью.

Любила также рассказывать о господине Фонтенеле,²¹ с которым видалась в Париже еще до революции.

– Настоящий был филозоф: никогда не возвышал голоса, не сердился, не плакал и не смеялся. «Господин Фонтенель, говорю, вы никогда не смеялись?» – «Нет, говорит, я никогда не делал: „ха! ха! ха!“ Никакого чувства не знал, никого не любил – люди ему только нравились. „Господин Фонтенель, говорю, вы меня уважаете?“ – „Je vous trouve fort aimable, madame“.²² – «А если бы вам сказали, что я кого-нибудь убила, вы бы поверили?» – «Я бы подождал, сударыня», – говорит, а сам усмехается. Крепкий был старичок, больше лет ста прожил. Умница. Нынче таких не сыскать!

А люди нового века, с их куцыми мыслями, куцыми фраками, не нравились бабушке.

– Все вы, как посмотрю я на вас, какие-то общипанные, как будто сейчас вышли из бани. Модники, мышинные жеребчики!

Не могла привыкнуть к новым широким панталонам навывпуск, которые заменили старинные, короткие штаны с чулками и башмаками.

– От санюлотов пошла эта мода, от срамников, голоштанников, прости Господи! – ворчала она и вспоминала, как на одном московском балу хозяин подбежал к щеголю, который явился первый в длинных штанах: «Что ты, говорит, за шутку выдумал? Ведь тебя приглашали на бал танцевать, а не на мачту лазить, а ты нарядился матросом!»

– С двенадцатого года Москва деженерировала,²³ – вздыхала Наталья Кирилловна, когда Нина Львовна рассказывала ей московские новости. – Поднял бы наших стариков, дал бы им взглянуть на Москву, – ахнули бы, на что она стала похожа. Ни сосьете,²⁴ ни вельможества. Да, обмелела Москва! Так все идет, что час от часу хуже. И глаза уж не глядели бы, и не слушала бы про то, что делается!

Единственным гостем Натальи Кирилловны был старичок Фрындин, Фома Фомич, отставной бригадир времен суворовских. Малого роста, приятной наружности, с бледно-голубыми, как выцветшие незабудочки, детскими глазками, с детской улыбочкой, с тихим и ласковым голосом. Одет всегда с чрезвычайной опрятностью: в длиннополом коричневом кафтане французского покроя, со стальными пуговицами, в брызжах и манжетах, при шпаге, в пудреной косичке с лентой. Должно быть, когда-то влюблен был в бабушку и до конца жизни остался ей верен. Всегда чрезмерно почтителен; только играя в мушку или ломбер и входя в азарт, позволял себе шуточки: скажет, бывало, «семь в сердцах», вместо «семь в червях».

– Ну, ну, перестань, батюшка, что за прибаутки, – ворчала старушка.

– И, матушка, Наталья Кирилловна, отчего и не побаловать себя; коротка-то ведь жизнь! – улыбался старичок своей тихой улыбкой.

Когда бабушке хотелось подремать, он читал ей «Утехи любословия», или «Плоды меланхолии, питательные для чувствительного сердца», а когда она скучала, старался ее позабавить какой-нибудь новостью.

– Вот, матушка, в «Северной Пчеле» пишут, будто китайцы учат обезьян щипать листья с чайных деревьев, потому что-де лучше людей по сучьям лазают.

– Да ты все врешь? – сомневалась бабушка. – Этак я и чаю пить не стану, из обезьяньих-то лап!

– Ничего, матушка, в трех водах у них лапки моют чистехонько, – утешал ее старичок.

²¹ Фонтенель, Бернар (1657–1757) – французский литератор и ученый

²² Я считаю вас очень приятной женщиной, сударыня (*франц.*)

²³ от *франц.* de jenerer – приходить в упадок

²⁴ общество (*франц.* société)

А иногда любил пофилософствовать:

– Не бывает удовольственных для человека времен, кои бы не растворялись горестями следующих в большей пропорции. Тихое же сердце к радостям всегда отверсто. Вот я и радуюсь. Желаний никаких, именно никаких, в сем мире уже не имею, и нет человека на свете меня счастливее, – говорил, принюхивая медленно щепотку табаку из золотой табакерки с портретом императора Павла I и надписью: «По Боге он один, я им и существую». И такая тишина была в его улыбке ясной, что можно было поверить тому, что он говорил.

Любил сравнивать прошлый век с нынешним:

– Предки наши с меньшим просвещением, но с большим удовольствием жили. Роскоши такой, как мы, не имели, но и страха и беспокойства тоже. Удивительно, что не хотят люди спокойно жить и по стопам своих предков следовать. А что еще узрят внуки наши и правнуки, о том и подумать страшно!

После буйных сходов заговорщиков, где раздавались речи о мятеже, о крови, о России, в пожаре восстания пылающей, возвращался Голицын в тихий старый дом как в сновиденье, царство призраков. Сновиденье рассеется, призраки исчезнут – и жалеть их нечего: все разметать, разрушить в старом доме так, чтобы не осталось камня на камне, – для этого он и шел на восстание. Не хотел жалеть, а все-таки жалел. Как будто проходили перед ним в последний раз и заглядывали в глаза его с тихой жалобой тихие тени прошлого.

Когда в тот день, 13-го декабря, вернувшись от Рылеева, вошел он в бабушкину комнату, старушка, по обыкновению, сидела в низеньких креслах, у столика с двумя восковыми свечами, и раскладывала гранпасьянс нескончаемый. Старичок Фрындин читал прошлогодние «Ведомости». Нина Львовна вязала шарф, а Маринька метила белье.

В комнате было жарко натоплено, накурено смолкою, так что Голицын немного задохся со свежего воздуха. Он наклонился поцеловать ручку у бабушки. Фиделька залаяла и едва не укусила его за ногу. Попугай, дремавший в клетке, зашевелился, приоткрыл один глаз, поглядел на него и пробормотал сердитым голосом:

– Потап Потапыч Потапов!

Все как всегда: уютно, тихо, сонно, недвижно, неизменно, как в вечности.

– Где опять пропал? Что это, батюшка, на месте не посидишь, с утра до ночи по людям шляешься? – проворчала бабушка ласково.

– У дядюшки был, у князя Александра Николаевича. От вас поклон ему свез, – солгал Голицын, чтоб от расспросов отделаться.

– Да ты все врешь? Старик меня, чай, и не помнит.

– Помнит, бабушка. Кланяться велел и целовать ручку, – опять наклонился он, и Фиделька залаяла.

На минуту все замолчали, и стало еще тише, уютней, усыпительной.

– Marie, полно глаза слепить. При свечах метить нельзя, – сказала Нина Львовна.

Маринька сделала еще несколько стежков, закрепила нитку, откусила кончик и отложила работу.

– Поди-ка сюда, внучка, – позвала ее бабушка. – Что это ты нынче какая невеселая? Вот и личико бледное. Аль нездорова? – поцеловала ее и по щеке погладила. – Хоть и бледна, а очень, очень при своем авантаже сегодня!

И обратившись к Нине Львовне, прибавила:

– Помилела-то как у нас Маринька. Женишка бы ей хорошего, – да не вашего старого хрыча Аквилонова. Брось-ка ты свои Черемушки, мать моя, переезжай ко мне на житье, не поскучай старухой – будешь довольна. И жениха найду настоящего.

Нина Львовна молча потупилась и проворнее зашевелила спицами.

– А когда же вы обещанье ваше исполните, Марья Павловна? – сказал Голицын. Он видел, что ей тяжело, и хотел ей помочь отделаться от бабушки.

– Какое обещанье, князь?

– Показать сувенирчики.

– Ах, да. Я с удовольствием, если бабушка позволит.

– Я бы тебе сама показала, батюшка, да что-то ноги ломит, встать не могу. Покажи ему, Маринька.

Старушка любила показывать гостям свои сувенирчики и хвастать ими, как ребенок.

Марья Павловна подошла с Голицыным к стеклянному шкапчику, отперла его и начала показывать старинные вещицы – табакерки, бонбоньерки, медальоны, камеи, коробочки для мушек и пудры, саксонского фарфора куколки и чашечки.

– А это что? – спросил Голицын, указывая на маленькую вещицу из слоновой кости и золота.

– Блошная ловушечка. Видите, трубочка со множеством дырочек, снизу – глухие, а сверху – открытые. Стволик, намазанный медом, ввертывается в трубочку; блошки попадают в дырочки, прилипают к меду и ловятся, – объяснила Маринька. – Бабушка рассказывает, что эти ловушечки носились на груди у модниц на шелковой ленточке.

– Надо же такое выдумать, – рассмеялся Голицын. Маринька посмотрела на него молча, с тихой строгостью, и он понял, что не надо смеяться: эти бедные памятки старого века ей милы и дороги. Она ведь и сама немного похожа на них; в ее собственной прелести – благоухание прошлого. Да, не надо смеяться над прошлым: мы посмеемся над нашими дедами, а наши внуки – над нами; каждому свой черед, и своя блошная ловушечка у каждого.

– Маринька как бы с вами поговорить наедине? – быстро шепнул он ей на ухо.

– Приходите уже в голубую диванную, – ответила она таким же быстрым шепотом, заперла шкафчик и вернулась к бабушке. Голицын потихоньку вышел из комнаты.

Бабушкин гранпасьянс кончался. Все следили за ним с любопытством.

– Бубны-то, матушка, бубны к червям! – волновался Фома Фомич.

– Отстань, батюшка! Чего суешься без толку, – сердилась Наталья Кирилловна.

– Письмо и дорога! Письмо и дорога! – не унимался Фома Фомич, то садился, то вскакивал, заглядывая в карты через плечо старушки.

– И вовсе не дорога, а смерть и марьяж, – возражала Нина Львовна, тоже вся в волнении.

– Ожидаемого получение и фортуна неизменная! – выложив последнюю карту, объявила бабушка торжественно.

– Фома Фомич, будьте добреньким, помогите мне пальцы перетянуть, – сказала Маринька.

– Что это тебе на ночь глядя вздумалось? – удивилась Нина Львовна.

– Да я хочу завтра с утра начать. А то нынче дни такие короткие; как сядешь за работу, так и стемнеет, – покраснела Маринька до самых ушей – лгать не умела – и, наклонившись к матери, обняла ее, чтобы спрятать лицо. – Позвольте, маменька, голубушка, миленькая!

– Ну, ладно, ступай.

Миновав несколько темных комнат, где только ночники да лампадки теплились, Маринька с Фомой Фомичом вошли в голубую диванную. Здесь, у окна, за пальцами с начатой вышивкой – белым попугаем на зеленом поле, должно быть, портретом Потапа Потапыча, – сидел Голицын.

– Ах, это вы, князь, – притворно удивилась Маринька и опять покраснела. – Фома Фомич, ради Бога, извините за беспокойство! Князь поможет мне пальцы перетянуть. Я и забыла, что он обещал мне давеча...

– Что за беспокойство, сударыня, помилуйте! Так вы уж тут побудьте с князем, а я пойду отдохну в креслицах, что-то дрема долит. Да сон-то у меня чуткий, – небось, если пройдет

аль скличет кто, услышу и доложу немедленно. *Tout à vos ordres, mademoiselle.*,²⁵ – шаркнул ножкой старичок с любезностью.

Понял, в чем дело. Мариньку любил как родную, терпеть не мог Аквилонова, а Голицына считал таким женихом, что лучше не надо.

Когда Фома Фомич вышел, Маринька села за пяльцы и наклонилась, тщательно рассматривая вышивку. Голицын сел рядом. Оба молчали.

– Ну, что же, князь, говорите, я слушаю, – улыбнулась она невольно. Он – тоже. И опять, как тогда, в дилижансе, по пути из Москвы в Петербург, оба смотрели друг на друга, улыбаясь молча и чувствуя, что это молчание сближает их неудержимо растущей близостью. Как будто после долгой разлуки увиделись и вспоминали, узнавали друг друга с удивлением радостным.

– Помните, Маринька, вы мне наемни сказали, что, может быть, у вас нет жениха. Ну, так как же, есть или нет? – спросил Голицын.

– А вам на, что? – опять наклонилась она к вышивке и потрогала пальчиком желтый хохолок Потапа Потапыча.

– Маринька, милая, ведь вы же знаете на что, – взял он ее за руку, и она не отняла руки, только еще ниже опустила голову, так что лицо ее почти закрыли висевшие вдоль щек длинные локоны. Знала, что в эту минуту судьба ее решается. Хотела скрыть волнение и не могла. Сердце билось так, что казалось, он услышит.

– Что с вами? Что с вами, Маринька? Отчего вы не хотите говорить со мной, как прежде? Отчего вы такая?

– Какая? Нет, я ничего... Нельзя же все шалить да ребячиться. Ведь уж не маленькая. Пора и за ум взяться. Жизнь не шутка.

«Жизнь – Хо».

В терпенья сердца надо верить
И терпеливо ждать конца,—

вспомнилось Голицыну.

– Ну, что ж, не хотите говорить – и не надо. А только верьте, что бы ни случилось, Маринька, верьте, что есть у вас друг. Верите? Этому-то верите, да?

– Ну, конечно... – хотела она улыбнуться прежней улыбкой, но не могла. – Почти верю – кончила уже с иною улыбкою, бледною, слабою.

– Почти? Разве можно верить почти? А впрочем, что же делать, значит, не заслужил, – горько усмехнулся он и отпустил ее руку.

Опять замолчали, и обоим стало тяжело; оба чувствовали, что говорят не то, что надо; слова разделяли, как будто после краткого свиданья наступала вновь разлука вечная.

– Это все, князь, что вы хотели сказать?

– Нет, не все. Еще самое главное: когда будете решать с господином Аквилоновым, то помните, что вы свободны: долг за имение уплачен, и теперь уж никто у вас не отнимет Черемушек. Как хотите, так и решайте: вы свободны, Маринька.

²⁵ Весь в вашем распоряжении, мадемуазель (*франц.*)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.